

[Polaris]



КОЛЕЧКО

Забывтая фантастическая проза XIX века

Том I

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCCLXXI



Salamandra P.V.V.

КОЛЕЧКО

Забывтая фантастическая
проза XIX века

Том I

Salamandra P.V.V.

Колечко (Забывтая фантастическая проза XIX века. Том I).
Сост. и подг. текста М. Фоменко. — Б. м.: Salamandra P.V.V.,
2020. — 152 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCLXXI).

В сборник вошли впервые переиздающиеся произведения первой половины XIX века — фантастические повести Ф. Ф. Корфа (1801-1853) «Отрывок из жизнеописания Хомкина» и В. А. Ушакова (1789-1838) «Густав Гацфельд», а также рассказ безвестного «Петра Ф-ъ» «Колечко». Помимо идеи вмешательства потусторонних и inferнальных сил в жизнь человека, все они объединены темой карточной игры.

КОЛЕЧКО

Петр Ф-ъ
КОЛЕЧКО

В 1834 году я был в гостях в одном из тех домов, где хозяева очень радушно приглашают гостей, но не умеют занять их. Было не весело. Играли в карты. Я засел в уголок и сладко дремал. Изредка громкие возгласы игроков выводили меня из забытья; тогда я принимался разглядывать предметы, меня окружающие, хотя, признаться, с большим трудом: от трубок и сигар в комнат стоял, как говорится, дым коромыслом. Несмотря на это, однако ж, заметил я какого-то гостя, мерным шагом расхаживавшего по зале. Это был видный мужчина, лет тридцати, в очках, с длинными черными волосами, одетый по последней моде. Меня особенно поразила красота его маленьких, аристократических рук. На мизинце левой руки блестело простое золотое колечко. Желая завязать разговор, я встал со своего места и пошел к нему навстречу. Мы сошлись.

— Весело вам? — спросил он меня тихо.

— Очень. А вам?

— Мне?... Но скажите лучше, отчего вы не играете?

— Не помню, где-то Дюма очень умно ответил на этот вопрос: я не доволен богат, чтобы проигрывать, и не так беден, чтобы прельщаться выигрышем.

— Согласитесь, однако, что небольшой проигрыш довольно дешевая цена за убитое время. Игра развлекала бы вас, вы бы разогнали скуку, и не были бы принуждены прибегнуть к моему собеседничеству... Берегитесь, вы попали из огня в полымя.

— Но и я могу спросить вас, в свою очередь: отчего вы не играете?

— Я ненавижу карты! — отвечал с какой-то злостью мой собеседник.

— А вы их сейчас так хвалили?

— Да, но это сладкий яд, это нравственный опиум, который, усыпляя нашу скуку, разрушает наш организм... Я тоже играл когда-то, но дал клятву не играть больше, и сдержу ее во что бы то ни стало! Впрочем, игра, в которую здесь играют, не опасна. Ее вам бояться нечего! Меня пугает, собственно, не игра, а карты. От нас самих зависит сделать из них орудие нашей забавы, или.... Возьмите, например, ружье;

оно забавляет нас на охоте, но все-таки, тем не менее, очень опасная игрушка! Много чести называть преферанс игрою — это даже не игра, как дурачки и фофаны.

— Сколько времени вы не играете?

— Два года. Трудно было мне первое время отвыкать от карт. Не знаю, выдержал ли бы я это испытание, если бы не талисман...

— Вы верите в талисманы?

— Да — есть талисманы, которым невольно веришь. Талисман этот ни более, ни менее, как это колечко.

— Колечко вашей матери или сестры, вероятно?...

— Да — женщина, давшая мне это колечко, была для меня матерью, сестрою, моим гением-хранителем. Это было единственное существо в мире, любившее меня!

— Где же она?

— Умерла! — как-то странно сказал он.

— Простите, если я своим вопросом пробудил грустные воспоминанья.

— Нет, мне, напротив особенно приятно вспоминать о ней. Я пожалуй, расскажу вам про нее, если вам нечего делать. Сядьте сюда в уголок, и послушайте; может быть, вы потом слаще задремлете от моего рассказа.

Весною 1831-го года, шестнадцатого мая, я собрался в гости к одним моим коломенским знакомым. День был хорош, и я, желая насладиться приятною погодой, пошел пешком. С самого утра я себя как-то дурно чувствовал. Накануне я проигрался в пух, провел бессонную ночь, и меня мучила нестерпимая головная боль. Мне было досадно на мою глупую страсть, на моих партнеров, на самого себя. Я надеялся, что чистый весенний воздух целебно подействует на мои расстроенные чувства и успокоит волнение. У Никольского моста застал меня проливной дождь; небо, до тех пор ясное, обложили сизые тучи, воздух вдруг похолодел...

— И прочее и прочее, — заметил я.

— До знакомых моих было еще далеко; они жили на Козьем болоте. Не желая промокнуть до костей, я кинулся в первую попавшуюся на глаза табачную лавочку. Это была бедная лавочка, с простыми шкафами даже не крашеного

деревя. На стене висела расклеившаяся скрипка и бунд позеленелых струн, подле несколько связок листового табака. Когда я вошел, на дребезжащий звон колокольчика вошла за прилавок молодая девушка. Прекрасное лицо ее обрамляли густые, шелковистые, черные волосы...

— Говорите прозой: вошла черноволосая девушка...

— Тоненькие черные брови изогнулись дугой над ее огненными глазами; губки, прикрывавшие собою ряд жемчужин...

— Послушайте, извините, если я перебею ваш рассказ; описывайте вашу героиню прозой, я не люблю поэтических описаний прекрасного пола.

— Пожалуй. Вот вам и проза. Простое, ситцевое, во многих местах починенное платье обрисовывало ее талию. Руки ее, маленькие, с тоненькими пальчиками, были красны и грубы. Красота ее так сильно меня поразила, что я стоял несколько времени, как окаменелый.

— Что вам угодно? — спросила она тихим голосом.

— Сотню папирос Кадоша, — отнимал я, собравшись с силами.

— Извините — сотни у нас не наберется, притом папирос фабрики Кадоша мы и не держим — а вот, если угодно, папиросы Шмыгена. Очень хорошие... их хвалят...

— Все равно — дайте их...

И я положил на выручку бумажку в пять рублей.

— Я сию минуту принесу вам сдачи.

И девушка ушла в соседнюю комнату.

— И вы угадали, я думаю? Девушка пришла с ассигнацией обратно. «Извините, — сказала она, — сдачи у нас не нашлось... Я сбегая в лавочку».

— Не надо, — отвечал я, — я плачу за десяток папирос пять целковых.

Она с удивлением посмотрела на меня.

— Вы не богаты, продолжал я, — и эти деньги...

— Мы не просим милостыни, — отвечала она твердо, с гордостью.

— Благородно, — заметил я моему рассказчику. — Будь это в Париже, вас бы приняли за англичанина или мота, и

магазинщица очень хладнокровно сказала бы вам: merci; тогда как эта... Но продолжайте.

— Я не находил, однако же, ничего благородного в этой выходке; я был обижен. «Так сходите за сдачей», — сказал я холодно.

Она вышла.

Через пять минут принесла она сдачи.

— Отчего же, — спросил я, — муж ваш не торгует сам?

— Я не замужем.

— Очень рад. Прощайте!

И я вышел с досадою, но, несмотря на дождь, тихо побрел к моим знакомым, оглядываясь ежеминутно назад.

На другой день, рано утром, я отправился в знакомую лавочку.

Несмотря на утро, в лавочке был уже покупатель, какой-то лакей в шинели. Магазинщица о чем-то с ним спорила, и в жару спора не заметила моего прихода.

— Нет, милочка, — говорил лакей, — уж ты, того, много запрашиваешь... Как за простую трубку три гривенника. Гривенник — хочешь... бери.

— Себе дороже стоит!..

— ...Полно, пташка!.. Дорого? Да я за гривенник не только трубку...

Он не кончил фразы, и был за дверью.

— Аннушка! — раздался дребезжащий голос в другой комнате.

— Иду, маменька, — отвечала она, и, слегка поклонившись мне, упорхнула из лавки.

Прошел месяц, другой. Я часто заходил в лавочку, и каждый раз девушка более и более меня очаровывала. Прошло лето, настала осень. Погода...

— Бога ради, не говорите о погоде — я знаю, что вы хотите сказать. О петербургской погоде даже говорить тяжело.

— Раз вечером я решился объяснитьсь с нею...

— С погодою?

— Нет, с Аннушкою.

— Это любопытно...

Я вошел в лавку. Она ласково поклонилась мне. Я сел у

прилавка; она, стоя за прилавком, что-то шила.... Да — я забыл вам сказать, что со времени нашего знакомства она одевалась лучше и даже с некоторою изысканностью.

Долго сидел я молча. Наступила решительная минута, думал я: что-то будет. Сердце мое робко сжалось. Наконец, собравшись с духом, я тихо начал:

— Неужели вы думаете, что мои визиты не имеют другой цели, кроме покупок?

— Не знаю.

— Выслушайте меня. Я люблю вас, как никого не любил и не буду любить. Я видел много светских кукол — но нигде не находил столько благородства, прелести, как в вас.

Щечки ее зарделись румянцем и она пристально смотрела на меня. Дрожь страсти пробежала по всему моему телу, тысячи колокольчиков раздавались в ушах.

— Я люблю тебя, — повторил я в забытьи. — Требуй, чего ты хочешь от меня.

— Исполните ли вы мою просьбу?

— Клянусь всем на свете.

В это время порывистый ветер пробежал по улице; дождь с новою силою забарабанил по стеклам.

— Я прошу вас прекратить ваши посещения, — сказала она.

— Как? — вскричал я.

— К чему они поведут? Если вы точно меня любите, то, вероятно, не захотите погубить меня. Быть женою вашею я не могу, стало быть, напрасная страсть ваша была бы вам постоянным терзанием. Вы любите меня — и я.... я тоже люблю вас.

— О! сколько счастья!

— Да, я тоже полюбила вас. Вы видите, я откровенна, — и все-таки прошу вас не приходить больше.

Я подумал и сказал с отчаянием:

— Правда! Прощай же, будь счастлива; мы никогда не увидимся! Но я сохраню всю жизнь мою память о тебе, милая, честная, благородная девушка.

Я хотел броситься из лавочки.

— Будьте на углу улицы — я сейчас приду!

Я выбежал. Холодный ливень освежил меня. Жадно глотал я крупные капли дождя. Дойдя до угла, я прислонился к стене. На улице было темно. По Садовой неся стук экипажей, где-то на дворе выла собака. Я стоял; колени мои дрожали, казалось, каленые молоты стучали в моей голове.

Наконец раздались шаги... Это была она...

Я не в силах рассказывать вам нашего прощания.

На этот мизинец она надела мне свое золотое колечко, единственную дорогую вещь, которая была у нее. Вот как оно мне досталось.

Рассказчик замолчал. Я заметил, что впалые щеки его были влажны. Игра кончилась. Ночь была морозная, светлая; лучи ясного месяца дробились в узорах на стеклах, оконницы сверкали, как вычеканенные из серебра.

— Пора домой. Конец моей истории я доскажу вам в другой раз, — сказал незнакомец.

Мы распрощались.

Через неделю мы опять сошлись в том же самом доме. Знакомый незнакомец мой исполнил свое обещание.

— Я, право, не знаю, с какой стати рассказываю вам мою историю, — начал он, — она вас мало интересуется. Что касается до меня — таков мой характер: я готов открыть задушевные мои тайны человеку, которого вижу в первый раз. У меня нет друзей, или, лучше, мне все друзья — я со всеми откровенен. Я люблю всех и дружен со всеми.

Я продолжаю мой роман.

Мы расстались. Сначала страсть долго меня мучила, но, желая ее истребить, я стал искать противоядия — другую страсть, которая бы уничтожила первую. Я пристрастился к картам.

Я играл — не всегда счастливо: иногда возвращался домой с бумажником, полным радужных ассигнаций, или с пригоршнями золота, — а часто с тысячью-другой долга. Но эти ощущения, эта моральная пытка меня радовала.

Прошел 1831-й год. Настала холера.

Иногда случалось мне проходить мимо табачной лавочки. Что-то тянуло меня туда; я подходил к дверям; но одно-

го взгляда на колечко было достаточно, чтобы переломить себя, и я отходил от дверей.

Иногда, отправляясь в Коломню по делам, я нарочно шел по этой улице.

Весною все разъехались по дачам, я остался в городе. На Литейной жил один мой знакомый — Гродницкий.

— Гродницкий? Майор?

— Нет, этот не служил. У него очень часто собирались приятели. Раз после партии виста, при расчете, не случилось мелких денег у проигравшего. Он предложил сыграться. Шутя, я проиграл ему золотое колечко, и в душевном соболезовании, прислонив горячую голову к стеклу, смотрел на улицу. Было пусто. Ночь была ясная, светлая; напротив, в каменном доме, сквозь штору просвечивались три красноватых огонька и мелькали тени, по-видимому, от налоя и псаломщика.

«Покойник», — подумал я, и от земли поднял глаза на небо.

Я не верю в предрассудки... но... яркая звездочка оторвалась от небосклона и упала.

На другое утро, не будучи в силах удержать себя, я побежал в лавочку. Она была заперта. Я в квартиру — Аннушка лежала на столе. В ночь она умерла от холеры.

Я молча поцеловал покойницу, дал клятву не играть более и на память этого случая упросил выигравшего возвратить мне это роковое колечко, которое вы видите на руке моей.

Тем и кончился рассказ.

Федор Корф

**ОТРЫВОК ИЗ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
ХОМКИНА**

Это было давно, давно, когда еще люди думали, что на святой Руси позволено играть в банк и в другие азартные игры, когда новый повторительный указ не напоминал православным, что делу так быть нельзя. В одном большом каменном доме по Малой Мещанской, в четвертом этаже (ход по черной лестнице и по галереям), сидела вечером компания вокруг зеленого стола. Комната была невелика, но достаточна для помещения стола, шести кресел с сидящими на них шестью человеческими фигурами, хромой пирамиды с трубками, плеватьницы и шкапа со стеклом, задернутым зеленым коленкором. В пыли не было недостатка, и она в особенности прекрасно летала по воздуху около двух сальных свеч в медных подсвечниках, стоявших на известном зеленом столе в компании нескольких стаканов чая или, как говорят злые языки, пунша, множества кусков переломанного мела, щеток, изогнутых карт, ассигнаций, полумпериалов, целковых, полтинников, четвертаков, двугривенных, гривенников и пятачков.

Хозяин, титулярный советник Щекалкин, престарелый чиновник, сидел в вицмундире и метал банк. Его лицо не выражало ни страха, ни надежды; он бросал карты направо и налево, как другой стал бы раскладывать старые газеты, не говорил ни слова и только, при записывании своего выигрыша, оборачивался к проигравшему и смотрел ему в лицо, высунув вперед губы и показывая мелом записываемое число, как бы приглашая его поверить счет; но это никому не приходило в голову: все знали, что Щекалкин, служив где-то контролером, не ошибался никогда ни на грош и любил щеголять отличными знаниями в арифметике. Остальные пять собеседников, называемые на диалекте игроков понтерами, в разных позитурах сидели около стола. Сосед Щекалкина, с правой стороны, был молодой человек в синем сюртуке, с длинными черными кудрями. Он, как юноша с пылкой кровью, ставил на всякую карту большие суммы, гнул углы, транспорты, сизелевы, сетелевы, и про-

игрывал так, что на нем было написано в два столбца множество денег. С левой стороны подле хозяина сидел немец, господин Братшпис. Он был высокий, сухощавый мужчина лет сорока; темно-русые волосы, жесткие, как половая щетка, торчали на большой сучковатой голове его, наподобие игл ежа. Глаза карие выходили наружу из-под густых бровей; нос изрядной длины и ширины был набит табаком, смесью березинского с каким-то рапе; толстые губы прикрывали два ряда кривых, уродливых зубов, представлявших вид поломанного палисада. Шея была повязана пестрым галстуком, из-за которого торчал, белый как снег, воротник полотняной рубашки. Фрак на нем был зеленый, под цвет любимого им березинского табаку; с левой стороны болталось у него на длинной золотой цепочке множество колец и печатей с разными сентиментальными и прозаическими надписями; изрядная связка часовых ключиков, в виде настоящего ключа, в виде вазы и т. д.; все это снадобье шумело и гремело ужасно. Вдобавок к его костюму, ноги были заключены в узкие гусарские сапожки с кисточками и с нарезом на подъеме. Напротив хозяина сидел, подпершись локтем на стол, надворный советник Хомкин. На нем был вицмундир; но, за дурным освещением, нельзя было разобрать, какого министерства. Вздернутый вверх нос, поднятые брови и высоко зачесанные волосы на голове делали из его лица что-то странное, непостижимое: казалось, будто оно как-то торчит вверх, будто голова хочет выскочить из галстука или будто какая-нибудь сила тянет его за все личные нервы к потолку. В самом деле, странные бывают лица: глядишь, глядишь, и не понимаешь, как это оно так построено. Г. надворный советник Хомкин был очень толст, и толщина его неуклюже противоречила чрезмерной тонкости ног. Честолюбие и сребролюбие господствовали в нем над всеми другими страстями. Он никак не мог простить Щекалкину, что тот, будучи титулярный советник, имел Владимира 4-й степени, тогда, как у него, старого надворного советника, уединенно висела в петлице одна Анна. По этому случаю он часто делал милый каламбур, говоря, что вместо Марьи (законной жены его) лучше

бы ему повесили на шею Анну, и многие другие каламбуры в этом роде. Что касается до сребролюбия, то оно оставалось неудовлетворенным, и он думал игрою нажать себе состояние: расчет плохой и который редко удается. О семейной жизни Хомкина нельзя сказать много. Поутру, напившись чаю, уходил он к должности, приходил домой к обеду и, проглотив последний кусок, отправлялся куда-нибудь на банчик или на штосик. У него была дочь, да и та жила в одном знатном доме компаньонкой, а супруга, женщина лет сорока, не скучала одиночеством, потому что оно доставляло ей удовольствие ежеутренне бранить мужа своего за позднее прибытие к посту своему; этого наслаждения, хотя и кратковременного, достаточно было, чтобы вознаградить ее за целый скучный день, проведенный ею в обществе чулка с пятью спицами. Остальные два собеседника, лица ничего не значащие, смотрели на игру, принимая в ней только изредка участие.

Хомкин играл в этот вечер очень счастливо. С жадностью обегал он глазами стол и рассчитывал в уме, много ли может оставаться в банке; потом, вытащив четверку бубен, он поставил на нее сто рублей. Через полминуты четверка лежала на левой стороне. Хомкин с значительною миною поглядел на Щекалкина и сказал ему:

— Кажется, банк сорван.

— Вы зарвались двадцать пять рублей, — отвечал хладнокровно хозяин.

Начали делать расчет, и действительно оказалось, что выиграно двадцатью пятью рублями более, нежели сколько было в банке. Хомкин взял восемьсот рублей и принялся сортировать их по карманам. Хозяин дома встал с места, пошел к шкафу, отпер его и воротился к столу с большим свертком, из которого высыпались сотни две червонцев.

Надобно заметить, что хозяин уже четыре раза выкладывал денежки на стол, и что Хомкин четыре раза брал их, так что он всего был в выигрыше тысячи три; на долю немца досталось рублей девятьсот, проигранных молодым человеком. Хомкин, рассчитав мелом свой выигрыш, остался доволен своим вечером; он посмотрел на часы: было два ча-

са за полночь. «Пора домой», — думал он и хотел встать с места, но не тут-то было; какая-то непреодолимая сила держала его прикованным к стулу; другая подобная сила заставила его взять в руки оставленную им колоду изогнутых карт, вытащить карту и покрыть ее несколькими полуимпериалами. Из-под золота виднелась четверка бубен. Таким образом, не будучи в состоянии дать себе отчета в своих действиях, Хомкин не более как в полчаса вынул из карманов весь свой выигрыш и прибавил к нему несколько своих денег. Видя такое опустошение своей кассы, он начал горячиться, проигрывал, проигрывал, и наконец, когда пробило четыре часа и хозяин важно произнес: «баста», у Хомкина оставалось ровно восемь гривен. Он проиграл более двух тысяч своих денег; молодой человек прибавил к проигранным девятистам еще столько же. Немец Братшпис значительно понюхал табаку и минут пять водил под носом средним пальцем; молодой человек вздохнул, как вздыхают все молодые люди, у которых произошел значительный ущерб в их капиталах; хозяин запер деньги в известный шкаф со стеклом, а Хомкин все еще сидел на своем месте и не сводил глаз с зеленого, испещренного счетами поля. Не знаю, думал ли он о чем-нибудь или нет. Могу только сказать, что в эту минуту лицо его очень похоже было на развалившийся рисовый пирог, и что он, может быть, долго бы просидел в этом положении, если бы г. Братшпис, сбираясь домой, не ударил его по плечу в знак прощания.

— Как, уж вы домой?

— Да, ведь пятый час.

— Как, пятый час?

— Да, пятый час.

— Точно, правда, пятый час; это странно, пятый час! Я и забыл, что уж пятый час.

— Вы пешком отправляетесь домой?

— Я на четверке буб... я на извозчике поеду. Это удивительно, пятый час!

— Да что тут удивительного: играли до пятого часа, так не диво, что пятый час.

— Точно, правда, играли до пятого часа от четверки б... так не диво, что бубновый час.

— Какой бубновый час, что вы, батюшка?

— Так бубновая четверка, я хотел сказать, пятая четверка, нет, пятый час.

— Полно вам, батюшка, у вас от карт в голове перепуталось; только и речи, что о бубнах да о часах.

— Ваша правда, у меня в голове только и мыслей, что о бубнах да о часах, а все от того, что, вот видите, если б я прежде поставил пятый час, бишь пятерку, а потом пустил бы бубновую четверку, так и сизелево и сетелево были бы с четверкой... от бубен до пятого часа недалеко.

— Я вам скажу, что от карт до сумасшествия вам недалеко.

— Как сумасшествия, что сумасшествие, вы думаете, г. Братшпис, что от того, что четверка бубен, т. е., я хочу сказать, что до пятого часа, т. е. более двух тысяч рублей, оно, конечно, пятый рубль и две тысячи часов, т. е. две тысячи четверок, оно бы и ничего, да бубновая четверка рано пошла.

Хладнокровный немец потерял терпение; он раскрыл табакерку, отправил рукою в нос ужасную массу пыли, прищелкнув пальцами, повернулся к Хомкину спиною и ушел от него, повторяя:

— Сумасшедший, сумасшедший!

Щекалкин, поглядывая на эту сцену, немного улыбался, а молодой человек, с удивлением, свойственным молодым людям, пожимал плечами и, вероятно, сожалел о несчастном. Он начал тотчас разбирать в уме причины, которые могли произвести в надворном советнике такую мгновенную перемену. Начитавшись всяких путных и беспутных книг, где разлагают тело и душу человека, он начал подчинять это явление известным законам. К счастью, размышления его были прерваны, потому что иначе он непременно дошел бы до какой-нибудь теории, непонятной ни для других, ни даже для него. Его спас г. Братшпис, который, уходя, сделал ему предложение довести его до дома. В одно время с ними отретировались и два члена общества. Зачем они тут были, право, не знаю. Когда все ушли, Хомкин

с трудом отыскал свою шляпу; не сказав ни слова хозяину дома, вышел в переднюю, накинул на плечи шинель и, в сопровождении заспанного лакея, предшествовавшего ему с фонарем в руках, отправился по галереям и бесконечной лестнице вниз. Очутившись за воротами, он пошел направо. Тогда была поздняя осень. Дождь лил с неба и с крыш; тьма-тьмущая; ни зги не видать; догорающие фонари разливали сонный, экономический свет по пустым улицам. Хомкин шел по мокрым тротуарам, сам не зная куда. Он вышел на Невский проспект. Ночной извозчик, проехавший мимо его, радуясь седоку, спросил его:

— Куда с вами, барин?

— На бубновую четверку, да и в пятом часу.

Извозчик иронически улыбнулся и проворчал:

— Еще барин, а вишь, хлебнул как!

Хомкин в это время остановился, и, услышав замечание извозчика, как бы пробудился ото сна и обратился к нему с следующей речью:

— Что ты врешь, дурак; сам ты пьян; я тебе по-русски говорю, что мне надобно ехать в бубновый час на пятую четверку.

— Полно, барин, что вам нашего брата задирать; уж выпил, так что делать; один Бог без греха; с Богом домой бы скорее добираться, да и спать.

Вне себя от досады, Хомкин не знал, что ему делать. Он ясно видел, что этот извозчик не что иное, как бубновый король из той самой колоды, которою он играл; он мог разглядеть загнутые на нем углы. Печать Воспитательного дома, с красным четырехугольным пятном под нею, двигалась перед извозчиком, что служило несомненным доказательством, что вместо лошади впряжен был в оглобли бубновый туз. Окна во всех домах были освещены, и на каждом из них стояли богатые часы, показывавшие две минуты пятого. Ужас овладел бедным Хомкиным; он опрометью пустился бежать по Невскому проспекту. До него долетали возгласы извозчика-бубнового короля, который кричал: «Поди, проспись, батюшка!» Он обернулся и видит, что за ним гонится бубновая четверка; тогда, потерявшись совер-

шенно, зажмурил глаза, заткнул уши и побежал еще скорее прежнего. Несмотря на все эти предосторожности, ему все виделось и слышалось то же самое. Таким образом при-был он к адмиралтейству, пробежал мимо монумента Петра Великого, по Исаакиевскому мосту, и очутился на Васильевском острове. Изнемогая от усталости, он сел на одной из скамеек гранитной набережной.

Прогулка Хомкина взад и вперед по улицам продолжалась, однако, довольно долго, потому что в то время, как он уселся на набережной Невы, у Андрея Первозванного заблаговестили уже к ранней обедне. Погода была по-прежнему ужасная, так что дождь до неимоверности сердил бедного надворного советника. Страшные грезы не давали ему покоя, и, несмотря на изнеможение физических сил, фантазия его играла с прежнею энергиею. Отвратительная четверка бубен, с своими четырьмя кровавыми пятнами, стояла перед ним неподвижно; она принимала для него человеческий вид и пристально смотрела ему в глаза, как будто хотела проглядеть его насквозь; благовест казался ему боем часов — и он все насчитывал четыре.

На улице начали показываться люди, и всякий прохожий поглядывал на Хомкина, делая свои заключения о его мокрой фигуре. Многие наступали ему на ноги и не считали нужным даже извиняться, полагая, что этот человек не стоит учтивости. Хомкину хотя и было досадно такое пренебрежение к его особе, однако же он сносил все терпеливо до тех пор, пока один неловкий прохожий, спешивший куда-то, не стал всею тяжестью своего тела на мозоли надворного советника и не сшиб ему зонтиком шляпы с головы прямо в грязь. Оскорбленный Хомкин, собрав силы, вскочил на ноги и намерен был жестоко наказать дерзостного нарушителя спокойствия его, как вдруг увидел перед собою фигуру Братшписа. Не знаю, кто из них более удивился неожиданной встрече; они оба стояли с минуту, глядя друг другу в глаза и не говоря ни слова. Однако Хомкин, оправившись от первого впечатления, счел долгом, сообразно с штаб-офицерским чином, вступить за оскорбленные мозоли свои и за уничтоженную шляпу.

— Я не знаю, отчего вы себе позволяете давить порядочным людям ноги и бросать шляпы их в грязь; это бесчинство, милостивый государь, и я удивляюсь... как... вы, да у вас же к тому из-за галстука торчит четверка бубен.

— Боже мой, он все еще бредит! — пробормотал про себя Братшпис, и вследствие этого поднял из лужи шляпу обиженного штаб-офицера, надел ее ему на голову, извинился перед ним и предложил ему сесть вместе на извозчика.

— Мне мимо вашей квартиры ехать, так я вас довезу домой.

Хомкин согласился; дорогой рассказывал он Братшпису все приключения ночи и убедительно просил его вытащить из-за галстука и бросить несносную четверку бубен, которая так и колола ему в глаза. Братшпис старался успокоить бедного Хомкина, и, довезши его до дому, проводил до дверей квартиры и там сдал с рук на руки почтенной Марье Алексеевне, которая только что начинала беспокоиться о своем супруге, теряясь в догадках насчет его участи.

II

Скоро, скоро летит время; скоро живем мы, люди; а в настоящем большею частью кажется нам, что мы мешкаем, что день тянется, что надобно ускорить его ход. И вот начинаем мы, грешные, хлопотать, выбиваться из сил, чтобы как-нибудь убить золотое время. А зачем? Затем, что завтрашний день кажется нам вдали и лучше и веселее. Он пройдет; мы ждем следующего дня, следующей недели, следующего месяца, года, десятков лет, старости, смерти. Признаюсь, есть из чего хлопотать, есть для чего торопиться; мучить себя для того, чтобы поскорее занять последнюю квартиру: три аршина в длину, полтора в ширину — и холодно, и сыро, и темно. А этого все мы добиваемся, и все добьемся: никто не будет обманут в своих ожиданиях. Но я говорю это не для того, чтобы поучать людей; не воображаю, что

объявляю новость; но потому, что такого рода рассуждение идет у меня теперь к делу.

Если я напомнил читателю, что мы живем очень, очень скоро на белом свете, то сделал это для того только, чтобы он не изумился, когда я скажу ему, что г. надворный советник Хомкин прожил в одну ночь лет десять. Да, точно он прожил в одну ночь по крайней мере десять лет. Когда он снял шляпу, то вместе с нею слетела у него с головы половина волос, а остальные были так седы, так седы, что не отличишь их от самого чистого, белого мела. Все лицо его было искрещено морщинами, в особенности около глаз, отчего казалось, будто они у него закутаны в какую-то желтую, слоистую тряпку.

На все вопросы жены: что с ним случилось? где он был? не отвечал он ни слова. В нем как будто погасло начало нравственной жизни человека. Он ходил по комнате размеренными шагами, из одного угла в другой, и только изредка для перемены испускал тяжелые вздохи.

«Испортил его кто-нибудь», — думала жена и с отчаяния спускала, одну за другою, петли своего чулка.

III

Теперь, для полного уразумения описываемых происшествий, надобно нам отсчитать десять месяцев назад и переселиться в квартиру г. надворного советника Хомкина. Там встречали новый год. Комнаты были освещены; гости играли в вист, ходили по комнатам, разговаривали, молчали — всякий занимался, чем мог; девицы составляли отдельный кружок. Между ними всякий бы отличил, по красоте ее, Анну Ивановну Хомкину, единственное детище надворного советника. Она была так хороша, как только может быть девушка в девятнадцать лет. Круглое, белое личико, маленький, малиновый ротик, голубые глаза, русые волосы, легкий стан, маленькая ножка, вот, кажется, довольно материала, чтобы составить красавицу. Прибавьте к тому,

что Аннушка была добра и умна. С красотой, добротой и умом можно быть ангажированной не только в маленькую повесть, но даже в самый длинный и самый чувствительный роман г-жи Скюдери на роль *jeune premiere**. Сообразив все это, не найдешь ничего странного при виде толпы обожателей, теснившихся около прекрасной Аннушки. В числе этих господ являлись на первом плане г. Братшпис и молодой человек, которого мы видели в синем сюртуке, вечером, за картами у Щекалкина и которому, однако, пора дать имя. Его звали Григорий Александрович Бонов. Madame Хомкин разливала чай и беседовала с одной из задушевных приятельниц своих, Матреной Тимофеевной, вдовой какого-то штаб-лекаря.

— Что, Марья Алексеевна, — так начала штаб-лекарша, — когда-то вашу Аннушку замуж выдадите: невеста хоть куда.

— Хорошо вам говорить, невеста хоть куда, да что в этом толку? Ума в ней, матушка, немного. Сватался хороший человек, да вишь, не по ней.

— А кто такой сватался, смею спросить без церемонии?

— Адам Адамович.

— Какой Адам Адамович?

— Господин Братшпис. Он хоть и неправославный, да очень хороший человек, и не без денег.

— А отчего Аннушка не хочет за него?

— Бог ее знает; полюбился ей молокосос, Григорий Александрович. От роду ему 25 лет, денег ни гроша, да и в картишки, говорят, поигрывает; какого тут ждать пути.

— Ну, однако ж, матушка, ведь в вашей родительской власти, не скажу принудить, но уговорить Аннушку, сделать по-вашему.

— Было бы по-моему, Матрена Тимофеевна, да муж-то мой, Бог с ним, ни слова не говорит. Кабы он прикрикнул, дело бы давно слажено было.

— Неужели же вы и его даже не можете *уговорить*?

* Молодой дебютантки (фр.). (Здесь и далее прим. сост.).

— Нет, ничем; уж пыталась, да все нейдет. А в другом-то во всем, только слово скажи я, так он рад хоть в огонь. Отчего бы это, казалось; так нет, Адам Адамович ему-де не нравится. Что за причина!

В этом интересном месте разговор двух дам был прерван приходом господина Братшписа, который, подошед к чайному столу, сел возле Марьи Алексеевны с таким видом, как будто хочет вступить с нею в разговор.

Догадливая Матрена Тимофеевна тотчас смекнула дело, встала с места и удалилась, шепнув хозяйке на ухо:

— Я оставляю вас одних; вы мне потом расскажете.

Братшпис, понюхав табаку и несколько прокашлявшись, спросил хозяйку о ее здоровье.

— Слава Богу, батюшка, Адам Адамович! Как вы можете?

— Я ни то, ни се; страдаю иногда насморком и головными болями, но это не важные недуги. Да хоть бы и другое что поважнее, так не беда бы: физические болезни кое-как переносишь, а нравственные...

— Ах, царь небесный, что за такие нравственные болезни; верно, от дурного нрава, каприза, или разлитие желчи от злости?

— Нет, Марья Алексеевна, — возразил Братшпис, прикусив улыбку, — вы меня не поняли; я говорил фигурно: под болезнями нравственными разумел я страдания сердца, огорчения, обманутые надежды.

— А кто же вас обманывал?

— Никто; я сам себя обманывал.

«Я всегда говорила, что Адам Адамович умный человек, — думала про себя Марья Алексеевна, — говорит так красно, так хорошо, так фигурливо, что я, глупая, ничего не понимаю». Помолчав несколько, она спросила Братшписа:

— Как же это было, батюшка, что вы сами-то себя обманули?

— Очень просто: я думал, я льстил себя сладкою надеждою, что дочь ваша не отвергнет моих предложений, что она согласится быть подругой моей жизни, и ошибся. Вот каким образом я себя обманывал.

При слове *дочь* Марья Алексеевна совсем переконфузилась, а по окончании фразы она не знала, куда ей деваться.

«Ах я, безмозглая, — думала она, — ах я, недогадливая; он мне целый час толкует об Аннушке, а я думаю, что все об насморке да об желтухе. Так вот что значит фигуристо! Ах я, дура; придет же в голову такая дрянь. Беда с умными людьми!»

Оправившись от первого впечатления Братшписовой фразеологии, Марья Алексеевна сочла нужным поправить недогадливость свою решительным движением.

— Я вам скажу, Адам Адамович, что вам надобно уговаривать моего мужа: если он захочет, так дело будет кончено; а я одна, при всем желании вступить с вами в родство, право, ничего не могу сделать.

— И вы надеетесь, что супруг ваш согласится принять меня в свою семью?

— Да что тут много говорить о том, что я думаю да чего надеяться можно; приступайте к делу, так сами узнаете, да и мне еще скажете. Муж мой кончил играть; вот он встал и идет в кабинет. Верно, за деньгами — проигрался; ступайте за ним вслед, да и уговаривайте, как умеете.

Братшпис вежливо поклонился Марье Алексеевне и по совету ее отправился за Хомкиным в кабинет. Долго оставались они там. Игравшие с хозяином в вист и выигравшие у него уныло сидели вокруг стола с раскрытыми, ожидающими вклада карманами. Один из них приходил в нетерпение и с досады писал на сукне мелом самые ужасные иероглифы, которых бы не разобрать и Шампольону. Марья Алексеевна, зная одна секрет отсутствия своего мужа, со страхом и трепетом поглядывала на дверь кабинета.

— Иван Никитич! идет ли наш пари на следующий ровер? — кричал кто-то Хомкину.

— Его нет здесь, — отвечал хриплым голосом сочинитель иероглифов.

— Вы согласитесь, что хозяину очень неприлично оставлять гостей своих.

— Да и притом не заплатив денег.

— Это непостижимо!

- Непозволительно!
- Человек неглупый, а такой дать промах.
- Чудеса!
- Да где же он?
- Никто не знает.
- Уж не заболел ли он?
- Нет, жена тут.

Щекалкин стоял у окна и поглаживал свой Владимирский крест. Он не суетился, не спрашивал направо и налево о хозяине, но казался озабоченным; штаб-лекарша несколько раз подходила к хозяйке и спрашивала ее о результате разговора с Братшписом, но тщетно. Марья Алексеевна говорила ей: «Подождите, матушка, после».

- Да где же ваш муж?
- Подождите, матушка, после.
- Фу, несносная, — продолжала штаб-лекарша и с досадою ретировалась в стоявшие у печки кресла.

В эту минуту, когда все ждало и не могло дожидаться хозяина, Бонов, стоя возле Аннушки и пользуясь всеобщим волнением, нашептывал ей страстные речи, от которых у девушки щеки горели, как яхонты, а глаза были прикованы к полу. Наконец дверь кабинета растворилась. Из нее вышел Хомкин с несколько расстроенным видом и Братшпис.

— Извините, господа, — говорил хозяин, спеша к карточному столу, — заговорился с Адамом Адамовичем по одному важному делу.

Сердитый господин принялся стирать свои невежества. Пошла расплата.

Братшпис пошел прямо к Марье Алексеевне. «Что, батюшка?» — спросила она.

— Отказал наотрез; говорит, что дочь его сама пусть выберет себе жениха.

— Ах он, полоумный!

Братшпис отошел, ворча сквозь зубы: «Да, полоумный. Погоди, брат, попадешься». Проходя мимо окон, он почувствовал, что его кто-то дернул за полу. Он обернулся и увидел Щекалкина, стоящего с вопросительною физиономиею. «Худо, брат, отказ», — прошептал Братшпис. У Щекалкина

засверкали глаза.

Они оба обменялись взглядами, улыбнулись и разошлись. Скоро после того пробило 12 часов. Старый год погрузился в вечность со всеми своими дождями и морозами, теплом и светлыми днями; новый вылутился из яйца, и его явление на свет салютовали у Хомкина выскакивающими из шампанских бутылок пробками. Начались поздравления, желания благополучия, веселья и прочего; всякий глядел в глаза новорожденному году с надеждою; всякий обнимал его, как друга; всякий ожидал от него много. И он, вероятно, по примеру предшественников своих, надул не одного смертного.

Бокалы звенели; чмокание поцелуев раздавалось во всех углах; по комнате разлилось легкое, приятное благовоние шампанского. Нечего упоминать о сладких пожатиях рук, о рукоцелованиях: без них не обходится самая маленькая суматоха.

— Что сделалось сегодня с хозяином; посмотрите, он спит в креслах, — так говорил сочинитель иероглифов одному из гостей.

В это время Хомкин, спавший действительно, зевнул во сне так комически, что все общество обратилось в ту сторону, откуда шли звуки. Фигура Хомкина, развалившегося в креслах, его полуофициальная улыбка, ноги, сложенные кренделями — все это довершило потеху; вся компания покатилась со смеху.

Марья Алексеевна в отчаянии принялась будить мужа, но не тут-то было; он спал крепчайшим сном.

— Выпил лишнюю рюмку, — говорил кто-то в зале.

— Ах он, полоумный, — бормотала Марья Алексеевна.

— Ах он, полоумный!

— Ах он, полоумный! — повторили два голоса.

Марья Алексеевна оглянулась; гости смотрели друг на друга, никто ничего не говорил, а все слышали ясно еще два раза:

— Ах он, полоумный!

— Ах он, полоумный!

Гости начали разъезжаться. Так встречен был в доме Хом-

кина новый 1825 год.

IV

Несколько месяцев спустя, расстроенные денежные дела Хомкина заставили его переменить образ жизни. Он перестал принимать у себя гостей. Марья Алексеевна принялась за единственное известное ей рукоделье, состоящее в вязании чулок. Аннушку, бедную Аннушку отдали к одной важной, старой, скупой и сварливой барыне в компаньонки.

Что думало семейство Хомкина о случившемся у них на вечере странном происшествии, этого описать невозможно. Предположений была бездна, разговоров об этом тьма, а до путного результата никто не добрался.

— Нечистая сила, нечистая сила! — твердила Марья Алексеевна и морщилась, как гриб.

В это время Хомкин коротко сблизился с титулярным советником Щекалкиным и играл у него беспрестанно в карты, единственный расход, на который у него доставало денег. Но кто же давал ему займы, когда нельзя было предвидеть возможности получить их от него обратно? Эту услугу оказывал ему Братшпис, у которого, неизвестно откуда, всегда водились деньги. Вообще, Адам Адамович, несмотря на полученный отказ, все более и более втирался в дом Хомкина и был к нему так ласков и добр, что завладел совершенно его сердцем. Разговор о женитьбе Аннушки, хотя и возобновлялся, но уже совершенно в другом смысле: Братшпис говорил, что Хомкин поступил благородно, не принудив дочери своей выйти замуж против воли. По его мнению, женитьба по сердцу лучшее счастье в жизни; противное же хуже самой тяжкой ссылки.

Аннушка жила и скучала у своей знатной барыни. Она обязана была ездить со старухой по магазинам, читать ей по вечерам романы *madame Cotin*^{*}, играть с нею в пикет, по-

^{*} Мадам Коттен — литературное имя известной франц. писательни-

давать ей ее табакерку, присутствовать при ее утреннем и вечернем туалете: время, которое было употребляемо старухой для пересудов, сплетней и тому подобного. Аннушка не видалась более с своим возлюбленным Григорием Александровичем, для которого дверь дома Хомкина тогда, как приходила туда Аннушка, была заперта. Бедная девушка горевала, по ночам часто плакала, но покорялась своей судьбе без ропота, как чистое создание, видящее во всем случающемся в жизни перст Божий. Да будет Его святая воля: Он, Отец наш небесный, устроит все к лучшему концу; вот что думала Аннушка, и слезы умиления, эта блестящая роса, эта непорочная жертва Богу, лились из прелестных ее глаз.

В таком положении находились действующие лица этого рассказа, когда Хомкин, проигравшись в пух у Щекалкина, воротился домой в жалком положении полоумного. Теперь пойдем дальше.

V

Сдав на руки господина надворного советника Хомкина его законной супруге, Марье Алексеевне, Адам Адамович Братшпис направил стопы к своей квартире. Пришед домой, он постучал три раза концом своей палки в дверь. Ему отворил Щекалкин.

— Что, брат, каково идут дела?

— Славно, лучше быть нельзя. Я так искусно придавил Хомкину мозоли, когда он сидел на скамье у Невы, что он чуть меня не прибил, и потом так ловко прикинулся удивленным, увидев его, что у него сделалась в голове путаница хуже прежней.

— Ну, а жена что?

— Эта безмозглая ничего не может понять; разумеется, в отчаянии.

— Не видал ли ты Бонова?

цы Софи Ристо, в замужестве г-жи Мари Коттен (1770-1807).

— Нет, этого мошенника с собаками не отыщешь.

— А его-то и надобно прежде всех подцепить. Посмотри, он нам наделает беды.

— Не бойся, не уйдет, я о нем не даром беспрестанно думаю. К завтрашнему вечеру отыщем его и приведем к тебе. Однако, пора приниматься за дело; того и гляди, что прежде меня навернется к Хомкину какой-нибудь эскулап и отправит его какой-нибудь микстурой на тот свет; а теперь еще не время. Запер ли ты дверь?

— Запер, запер.

— Хорошо; смотри же, не робеть: ты ведь новичок; чего доброго, и меня испугаешься.

— Не бойся, не струшу, хоть сотню легионов бесов хуже тебя подавай!

Братшпис отпер большим ключом дверь в другую комнату, вошел в нее и сделал знак Щекалкину, чтобы он за ним следовал.

Комната, в которую вошли два приятеля, была довольно велика. В главной стене вделан был камин с богатыми бронзовыми барельефами, изображающими разные сцены из мифологии; снизу эти барельефы поддерживаемы были бронзовыми же сатирами и силенами. Окна были завешены черным сукном; а свет разливался из большой лампы, висевшей посередине потолка. Стены были украшены разными картинами в золотых рамах, но о содержании их нельзя ничего сказать по причине темноты колорита и дурного освещения. Против камина стоял стол, покрытый черным сукном, падающим до пола; на столе в приличном беспорядке разбросаны были разные книги в красных сафьянных переплетах с золотыми украшениями; мертвая голова, у которой снимался череп, играла роль чернильницы; разные медные и железные ножи, крючки и другие *инструменты* дополняли конфузию.

Вошед в комнату, Братшпис оглянулся к двери, чтобы удостовериться, действительно ли Щекалкин следует за ним. Щекалкин, поняв взгляд, брошенный назад немцем, улыбнулся и сказал ему:

— Будь спокоен, я не отстану от тебя ни на шаг.

— Не хвались, не хвались, а лучше соберись с духом: ваша братия, старые чиновники, всего трусите.

— Что тут пустяки говорить, — возразил сердитым тоном Щекалкин. — Ты, Адам Адамович, много болтаешь, а дела я от тебя мало еще видел.

— Увидишь, увидишь! — прохрипел Братшпис с сатирической улыбкою и вымеривая Щекалкина глазами с головы до ног. — Подвигайся-ка, братец, да не смотри таким зверем.

Когда они оба вошли, Братшпис запер за собою дверь, и в это самое время слышался шум в передней; казалось, будто бы кто-то уходил. Щекалкин обратил на это обстоятельство внимание Братшписа, но тот, занятый своим предметом, уверял титулярного советника, что это ничего, что у страха и глаза и уши велики. Засим сел он в стоявшие у стола готические кресла, раскрыл одну из больших книг и принялся в ней читать с большим вниманием. Во время чтения Братшпис отмечал что-то карандашом на бумаге. После того Братшпис выгреб из печки несколько горячих углей, вложил в жаровню и, заставив Щекалкина раздувать их мехом, поставил на огонь большую медную кастрюлю и с разными необыкновенными приемами начал вливать и вкладывать в нее разные жидкости и вещества.

Но зачем утомлять читателя описанием кабалистической сцены? Чародейство так всем известно: оно всегда производится на один лад, и Фрейшиц*, кажется, достаточно ознакомил нас с таинственными кругами, числами, заклинаниями, с совами, обезьянами, змеями, чертями, с красными и зелеными носами и со всеми принадлежностями порядочного ада. Поверьте мне, что с тех пор, как существуют колдуны, ведьмы и компания литья пуль, варение зелий, словом, производство всего того, чем люди хотят надуть людей, идет своим порядком безо всяких перемен. Только одно адское дело подвержено большим изменениям, но не о нем теперь речь. Это адское дело хуже всех пуль и зелий;

* «Фрейшиц» («Вольный стрелок») — впервые поставленная в 1821 г. и крайне популярная опера Карла фон Вебера (1766-1826).

от него нельзя укрыться; оно разбивает в мелкие куски лучшую часть человека; оно впивается в него без его ведома; оно грызет и точит его сердце; оно не щадит никого, ни юноши, ни старца, ни девы; оно пожирает равно добродетель и порок; оно не щадит ничего для уничтожения своей жертвы; для него хороши все пути, ведущие к цели, к ужасной, гибельной цели. Это адское дело влагается дьяволом в уста людей; оно придает им и силу, и красноречие, и яд. Это адское дело есть клевета !

Стало быть, как речь идет у нас теперь не о клевете, этой ужасной геенне, а просто о самом обыкновенном варении зелья, то я прошу читателя припомнить волчью долину Фрейшица; пожалуй, ночь с музыкой бессмертного Вебера, и перенести все это в описываемый кабинет; вместо Каспара поставить Братшписа, а вместо Макса — Щекалкина.

Когда дело было слажено и чудесное зелье готово, то Братшпис разлил его в два сосуда, и, посмотрев на трепещущего Щекалкина, сказал ему: «Вот это для любезного Хомкина, а это для его упрямой дочки».

В это самое время в соседней комнате раздался громкий хохот, смешанный с криком, и вместе с тем послышались шаги убегающего человека. Братшпис опрометью бросился из кабинета, далее в прихожую... никого не было, дверь на лестницу настежь, но ни малейшего следа убежавшего. В досаде Адам Адамович возвратился в свою комнату, и Щекалкин, у которого все перепуталось в голове, уверял его, что все это им показалось.

— А дверь-то ?

— Верно, я худо запер, так и растворилась.

Братшпис хотел успокоиться чем-нибудь, и, как утопающий хватается за соломинку, так и он рад был поверить словам Щекалкина, чтобы только иметь право не думать о случившемся.

VI

Было два часа за полдень. Погода чудесная. На Невском проспекте тьма гуляющих. Пестро до невероятности; дамские шляпки, белые и черные султаны офицеров, разноцветные капоты, салоны, сюртуки, жилеты, голубые, серые, желтые, черные и зеленые глаза, бледные и розовые щеки, красные и синие губы, белые, желтые и пунцовые носы — все это толкается, мешается, путается, то появится, то исчезнет! Чудо, не гулянье! Веселье да и только! Записные франты строят ужасные гримасы, чтобы только удачно удержать защемленный у глаза лорнет, употребляя руки для управления толстой палкой, увенчанной богатым набалдашником. Другие, тоже франты первого разряда, выходят от Доминика и чистят себе зубы перышком, чтобы тем дать уразуметь публике, что они изволили позавтракать. По справке же иногда оказывается, что они читали у Доминика газеты, предпочитая это занятие завтраку, как полезнейшее и дешевле. Третьи громко трубят о приглашениях на сегодняшний вечер; им трудно везде поспеть: «*On se les arrache!*»* Четвертые, седовласые Ловласы, по старой привычке делают глазки хорошеньким личикам. Пятые... но ведь не перечтешь всех франтов, гуляющих по Невскому проспекту. Дамы бросают попеременно то жестокие, то равнодушные, то нежные взгляды направо и налево. Все ходят, толкаются и все говорят, что гуляют для здоровья! Если после этого в большом свете случаются болезни, то уже, конечно, не от недостатка движения. Велико дело безделье! Было время, и я гулял по Невскому, и я в свою очередь платил дань моде и щегольскому обычаю века; но теперь прощай, Невский проспект, прощайте, миленькие дамские ножки, прощайте, прощайте, палки, парасоли, лорнеты, модники, прощайте, пестрые магазины, прощай, бессмертный Доминик — нам стал не под лета Невский проспект и вы, его очаровательные спутники.

* Здесь: их зазывают наперебой (*фр.*).

В одной из Морских есть барский дом старинной дедовской архитектуры. Он так важно и пасмурно глядит на улицу, что, проходя мимо, всякий наверно догадается, что в нем обитает какая-нибудь старушка Екатерининских времен. Так точно — это дом княгини В., той самой старой барыни, к которой отдана наша Аннушка. Блестящий экипаж княгини у подъезда; швейцар выполз из своей норы и греется на солнце; все в ожидании, что ее сиятельство сейчас поедет со двора; кучер окончательно поправляется на козлах; швейцар поглядывает на дверь; одни лошади, вышколенные до последней аккуратности, стоят как вкопанные, не мигнут. В этот торжественный момент ожидания какой-то молодой человек, хорошо одетый, стремглав летел пешком по тротуарам, и, поравнявшись с домом княгини, так живо поворотил прямо к ее подъезду, что чуть не сшиб с ног швейцара. Крайне разобиженный привратник грубо спросил незнакомца: кого ему нужно?

— Княгиню В.

— Ее сиятельство изволит сейчас ехать со двора.

— Ну, так Анну Ивановну Хомкину.

— Какую Хомкину, компаньонку, что ли?

— Да, да, доложи поскорее.

— Нельзя доложить, и компаньонка едет с княгиней.

— Мне, братец, очень нужно.

— Нельзя доложить, — твердо произнес швейцар и стал в дверях с ясным намерением загородить прищельцу дорогу. Он с убийственной флегмою вынул из кармана табакерку, и, прищелкнув пальцами, начал нюхать табак с спокойным видом человека решительного. Григорий Александрович Бонов (это он осмелился подойти к дому княгини) с тщетным нетерпением вопрошал швейцара; тот прехладнокровно отвечал ему: «Нельзя, помилуйте, нельзя». Во время этих переговоров слышались на лестнице шаги. Все засуетилось. Швейцар крикнул кучеру, что идут, а сам отворил обе половины двери. Ливрейный лакей показался в сенях и громко скомандовал: «Откладывать, княгиня не поедет». Бонов, слышавший это, принялся решительно штурмовать швейцара, так что тот наконец принужден был послать

наверх доложить компаньонке, что ее двоюродный братец желает ее видеть.

Княгиня по временам страдала мигренью, и в то время, как пришли доложить, что Анну Ивановну кто-то спрашивает, Аннушка усердно хлопотала около развалившейся на диване старухи, потирая ей виски каким-то спиртом.

— Ma chere*, потри мне лоб, вот так. Ах, какая несносная боль, — ворчала старуха.

— Вам жарко, княгиня, не отворить ли форточку?

— Что ты, матушка, уморить меня, что ли, хочешь; простудиться недолго. Ах, какая ужасная боль, в глазах темнеет. Кто там к тебе пришел?

— Не знаю, княгиня, ко мне никто не ходит.

— Варя, поди спроси: кто там?

Варя пошла и тотчас возвратилась с ответом.

— Двоюродный братец Анны Ивановны, г. Бонов.

Аннушка вздрогнула. Старуха, занятая своею болью, не заметила этого движения.

— Какой такой Бонов? — продолжала она. — Ах, право, хоть кричи.

— Это двоюродный брат мой, которого я давно не видала и даже не знала, что он приехал.

— А откуда же он приехал?

Аннушка, помедлив несколько, отвечала довольно невнятно: из Казани.

— Откуда? Что?

— Из Казани, княгиня.

— Варя, скажи, чтоб в гостиную просили, чтоб подождал там. Страсти господни, что за боль. Аннушка, дай мне понюхать соли. Он там в Казани и служит, твой братец?

— Я... право... не знаю, где он служит, княгиня.

— А что, он из дворян?

— Да-с... он дворянин.

— Богат?

— Нет, княгиня, он почти ничего не имеет.

— Молод, или пожилой?

* Моя дорогая (фр.).

— Молод, молод, очень молод!
— А собой каков?
— Очень... кажется... помнится, недурен.
— Ну, ступай к нему. Варя, позови Сашу и Настю. Ступай, Аннушка.

Аннушка поспешно пробежала бесчисленный ряд великоленных комнат, и наконец вышла в большую гостиную, в которой взад и вперед с нетерпением расхаживал Григорий Александрович. Увидя его, Аннушка покраснела и пошла медленнее; он, напротив того, ускорил шаги, и, приближаясь к ней, сказал:

— Поверьте, Анна Ивановна, одна крайняя необходимость заставила меня решиться на теперешний мой поступок, заставила меня пренебречь теми неприятностями, которые может вам навлечь мое посещение...

— Что такое? говорите, ради Бога!

— Не бойтесь; еще доселе нет ничего худого, и мы стараемся предупредить все то, что могло бы сделаться.

— Сядемте, Григорий Александрович, я едва могу на ногах стоять.

Они оба сели на мягкий шелковый диван и долго не говорили ни слова, будучи оба заняты мыслями и чувствами, породившимися в них при свидании после долгой разлуки. И где же пришлось им свидеться? В богато убранной зале, где аромат цветов ласкает обоняние, где все окружавшее их располагало к неге, к сладострастию. Наконец Аннушка решилась прервать молчание.

— Если вам есть что-нибудь мне сказать, то торопитесь; княгиня всякую минуту может меня позвать, и тогда вам никак не удастся со мною скоро увидеться.

— Вы правы, Анна Ивановна, часы дороги, надобно скорее рассказать вам, в чем дело. Или нет, я просто прошу вас ни под каким видом сегодня не выходить из дома, в особенности же не ходить в дом к вашему батюшке.

— Зачем? что там сделалось?

— Успокойтесь, там ничего не сделалось, все идет по-старому; но умоляю вас, не ходите туда сегодня.

— Зачем же? скажите. Вы, верно, от меня что-нибудь скры-

ваете. Говорите, какое несчастье постигло нас? Я перенесу его с твердостью, только говорите, ради Бога.

— Я вас уверяю, клянусь вам, что ничего не приключилось и что мне нечего вам объявлять.

— Но тогда зачем же мне не ходить домой?

— Не спрашивайте меня, Анна Ивановна, я не могу, я не должен объявлять вам причину; но верьте мне, положитесь на меня; я никогда еще до сих пор не говорил вам, как дорого мне ваше счастье; вы, может быть, не знаете, как искренно, как пламенно я желал вам всякого добра; вы не слышали до сих пор от меня ничего, кроме обыкновенных светских разговоров; вы, может быть, думаете, что в этом сердце все тихо и пусто; но знайте же, я вас люблю со всем пылом первой и единственной страсти в моей жизни; я вами живу; я рад посвятить каждую минуту моего существования служению вам, я вас боготворю... я тебя обожаю.

И с этим словом Бонов схватил дрожащую руку Аннушки и напечатлел на ней первый пламенный поцелуй любви. Он говорил так скоро и с таким жаром, что Аннушке не было времени опомниться; он так неожиданно поцеловал ее руку, что она не успела защититься; в его речах, в его движениях было столько правды, столько неподдельного чувства, что Аннушка не смела усомниться в истине его слов; она молчала и не поднимала глаз с ковра, на котором покоились ее ножки.

Они сидели в таком положении, когда дверь в гостиную растворилась, и старая княгиня вошла в комнату, кашляя и охая. Аннушка и Бонов, испуганные внезапным появлением старухи, вскочили с места.

— *Annette*, ша *chere*, как ты долго засиделась, я без тебя соскучилась.

Аннушка, оправившись от первого страха, отвечала княгине:

— Я сейчас собиралась идти к вам.

— Покажи-ка мне твоего братца, — прошептала княгиня.

Аннушка дала знак Бонову; тот подошел, и она, назвав его по имени, представила княгине.

— Он очень недурен, твой братец. Очень рада вас видеть, садитесь.

— Извините, я никак не могу долее оставаться; я спешу; у меня очень много дела.

— Жаль, что вы не хотите с нами остаться. *Annette*, дай мне табакерку. Мне бы очень приятно... У меня ужасно голова болит; эта мигрень пренесносная боль; ваша кузина знает, как я страдаю. Давно ли вы приехали?

Бонов не знал, что отвечать: кузина... давно ли он приехал?.. он ничего не понимал; однако же, посмотрев на Аннушку и видя ее смущение, отвечал:

— Вчера вечером.

— А каково житье в Казани?

— Очень... хорошо... право, очень хорошо.

Он сроду там не бывал.

— Какова была там погода, как вы уехали?

— Прекрасная.

— Это не по-нашему; сегодня первый хороший день во всю осень, а то все дожди да дожди. Хорошо ли в Казани общество?

— Я... общество там... мало видел...

— Вы разве недолго там были? Кузина ваша говорила, что давно с вами не видалась, где же вы были ?

— В Рязани, княгиня.

— О, так вы-таки поездили; ну, а каково там?

Бонов все более и более терялся; ему надобно было уже давно быть за дверью, а он принужден был выдерживать формальный допрос старухи, которая, от нечего делать, радехонька была поболтать с кем бы то ни было. К счастью его, по окончании разговора о Рязани и Калуге, раздался звон и лакей доложил о графе П... Бонов воспользовался этим случаем, раскланялся с княгиней, подошел к Аннушке и, напомнив ей потихоньку наставления, ушел из гостиной, проклиная старую болтунью. На этот раз швейцар обошелся с ним вежливее; он узнал, что ее сиятельство изволила ласково говорить с Боновым. Стало быть, он не из простых. Отчего же однако княгиня так разговорилась с Боновым, неизвестным молодым человеком? Эти дамы *du haut*

*parade** любят статных и молодых кавалеров, а на прочих едва смотрят. От того, что ей решительно нечего было делать, хотелось говорить, а не с кем. За неимением гербовой бумаги пишут на простой.

VII

Освободившись от многоречивой княгини, Бонов поспешно отправился к Хомкину. На дороге встречал он многих неотвязчивых знакомых, которые, поймав кого-нибудь на улице, непременно останавливаются для разговоров. Бонову было не до них; сухостью обращения и озабоченным видом удалось ему сократить эти остановки, и наконец он благополучию достиг вожделенной цело путешествия.

В доме Хомкина все пришло в прежний порядок. Марья Алексеевна взяла свой чулок. Хомкин, хотя поседевший и изменившийся в лице совершенно, пришел в себя; возле него сидел Адам Адамович Братшпис, занимая его любопытными разговорами о том и о сем. Бонову досадно было, что Братшпис пришел прежде него, и он решился не оставлять Хомкина ни на минуту в течение целого дня.

Братшпис уговаривал Хомкина идти вечером к Щекалкину отыгрываться от вчерашнего проигрыша и приглашал туда же Григория Александровича, который с радостью принял предложение.

— Что это Аннушка нейдет, — говорила Марья Алексеевна, — ведь обещала непременно быть.

— Верно, нельзя, — подхватил Бонов. — Она живет с старой барыней; а у них ведь причуд не приведи Бог сколько. Впрочем, теперь всего четыре часа; еще, может быть, и будет.

— Однако, не забудь, Григорий Александрович, тотчас уйти, если Аннушка придет: ты знаешь наше условие.

* Высокого полета (*фр.*).

— Я, кажется, до сих пор держал слово, Марья Алексеевна.

— То-то, смотри же.

— Коли дочь не придет, сходи к ней, жена, вечером.

— Нет, батюшка, там вечером не допросишься никого, хоть умирай; народу всегда такая тьма, что от карет на улице проходу нет. Княгиня-то важная дама: к ней весь город, хоть морщится, да бежит.

Братшпис тщетно ждал до шести часов; Аннушки не было; он досадовал на слепой случай, лишаящий его возможности исполнить свое предприятие. Потеряв надежду увидеть ее, он распростился с хозяевами и объявил Хомкину, что зайдет за ним часов в девять, чтобы вместе идти к Щекалкину.

Когда он вышел, то Бонов, оставшись один в обществе надворного советника и его супруги, несколько раз принимался было поговорить наедине с Хомкиным, хотел отвлечь его от вечернего визита к титулярному советнику. Он начал было уже читать диссертацию о непостоянстве счастья на свете вообще и в картах в особенности, начал доказывать, что безрассудно поручать капиталы свои *коварной двойке*, что отец семейства в особенности должен беречь копейчку на черный день; но вдруг в уме его блеснула мысль. Он жадно за нее ухватился и в тот же миг прекратил разговор о картах и деньгах, что очень радовало надворного советника. Било семь часов, било восемь; Аннушки не было; наконец, пробило и девять, а ее все нет, как нет. Явился Братшпис в зеленом фраке, в гусарских сапожках и со всеми принадлежностями обычного своего костюма. Он осведомился об Аннушке, и, узнав, что она не была, начал торопить Хомкина, говоря, что до Щекалкина далеко, что пора в путь, что ему хорошо пройти пешком и т. д.

Вследствие этого, надворный советник Хомкин, Адам Адамович Братшпис и Григорий Александрович Бонов отправились в путь. Дорóгой разговор, в виде прелюдии к готовящейся музыкальной пьесе, вертелся на шестерках, семерках, валетах, семпелях, транспортах и прочем. В половине десятого компания, поднявшись по бесконечной лестнице,

шла по галерее к квартире титулярного советника Щекалкина.

VIII

— Здравствуйте, гости любезные. А! любезнейший благоприятель, вот и вы; очень рад, что вчерашнее нездоровье скоро миновалось; я было крепко за вас трухнул; вы, казалось, так были расстроены; я думал, что у вас будет жесточайшая горячка.

Так говорил Щекалкин, встречая своих гостей.

— Слава Богу, все прошло, только голова что-то болит; мало спал, да и простудился, должно быть.

— И вас много благодарю, любезный Григорий Александрович, что не забываете нас.

— Ты, братец, меня благодари, — сказал Братшпис, — я называл к тебе сегодня гостей: к тебе, отшельнику и домоседу, надобно зазывать честных людей.

— Удружили, батюшка Адам Адамович, а я было думал, что мне придется вечер горевать одному. Как прикажете, почтенные гости, за дело, что ли? Или прежде перекинуть словцо-другое?

— Что тут болтать по-пустому, — возразил Братшпис. — Начнешь говорить, всего не переговоришь и не переслушаешь; язык заболит, а толку никакого. Скорее за дело.

— Разумеется, за дело! — воскликнул Хомкин.

Стол поставлен на прежнее, знакомое нам место. Щекалкин вынул из заветного шкафа пук ассигнаций. Все расселись по креслам и началась война. Сначала счастье колебалось, как бы не зная, кого избрать себе в любимцы; дело шло вяло, не было ничего решительного; наконец, крылатая фортуна воссела возле Хомкина. Он обобрал все деньги, бывшие в ходу, и, когда клал их в портфель, то насчитал пять тысяч рублей. «Хорошо, — думал он, — сегодня меня не надуешь, Щекалкин: что ни говори, я ни за что в свете не буду больше играть».

— Будет с меня, — сказал он. — Вы, господа, вчера меня обыграли; сегодня моя очередь.

— Разумеется, — возразил Щекалкин: — долг платежом красен; каждому своя очередь. Однако, господа, вечер так не кончится; я так рад, что наш добрый Хомкин выздоровел; не отпущу ни за что гостей, не выпив за его здоровье по бокалу шампанского; поужинаемте на скорую руку.

— От хлеба-соли отказываться грех, — сказал Братшпис, — я остаюсь.

— И я тоже!

— И я тоже!

— Вот, что хорошо, то хорошо. Малый, накрывай стол.

Ужин готов, и собеседники расселись на те же места около стола, на котором сражались.

Бонов во все время ужина был очень молчалив; напротив того, Братшпис расточал все свое красноречие, сыпал каламбурь и острые слова, чтобы оживить общество. Хлопнула пробка и звездящееся вино полилось шипучею струею в бокалы Хомкина и Бонова.

— Какой ты болван, — проворчал Щекалкин на лакея, — подаешь гостям такое вино. Это нашему брату хорошо; подай другую бутылку, клико!

— Помилуйте, что за церемонии, — говорил Хомкин, — не все ли равно.

— Нет, дорогих гостей надобно потчевать лучшим вином из погреба; я это сам выпью.

— А чтоб другая рюмка не пропала, — сказал Братшпис, — то я ее себе возьму.

— Для меня, право, и это хорошо, Адам Адамович, — возразил Бонов, — я в вине мало разумею толку.

— Нет-нет: я вас пригласил сегодня сюда; стало быть, я на правах хозяина, и никак не допущу, чтобы вы, редкий гость, лишены были лучшего кусочка.

— Право, мне все равно!

— И мне тоже, право...

— Нет-нет, господа. Эй, что ж вино, скоро ли будет?

Слуга вошел с бутылкой. Щекалкин взял ее у него бережно из рук и потихоньку начал выдавливать пробку, налил

Хомкину и Бонову и, привстав, провозгласил:

— За здоровье нашего доброго собеседника Ивана Никити...

— Ах, посмотрите, дом наш горит, вот в окне пламя, — закричал Бонов таким отчаянным голосом, что все вскочили с мест и побежали к окну. В это время Бонов, с тою быстротою, какую придает действиям человеческим отчаяние, переменял бокал Хомкина и свой на бокалы Щекалкина и Братшписа.

— Где же пожар?

— Где же пожар? — кричали все, выпяливая глаза в окошко.

— Как, разве вы не видите, вон там, прямо против нас?

— Что вы, батюшка, — возразил Щекалкин, смеючись, — напугали нас; просто свет в окне. Ах! как я, было, струсил.

— И я также, — говорил Братшпис.

— И я также, — говорил Хомкин.

— А я более всех, — говорил Бонов. — Извините, господа, что я вас так напугал; мне, право, совестно; не понимаю, как это я так ошибся: у меня в глазах замерещилось; ну, так ясно видел я пламя, что, как теперь подумаю об этом, так волосы дыбом становятся: так и казалось, будто оно хочет ворваться в эту комнату и поглотить нас всех. Извините, извините меня за ошибку.

— Что за беда, — отвечал Братшпис, — жаль только, что вы остановили нас в самом интересном месте, когда мы собирались пить за здоровье Ивана Никитича, может быть, будущего вашего тестя.

Последние слова Братшпис шепнул лукаво на ухо Бонову.

— И это не беда, — возразил Щекалкин, — время не ушло; мы возобновим еще с большим жаром тосты наши; только теперь, Григорий Александрович, не глядите в окошко; а то, чего доброго, вам еще что-нибудь привидится.

— Нет-нет, обещаю, что не подам знака жизни, если бы дом в самом деле даже загорелся.

— Итак, господа, за здоровье нашего почтенного, доброго Ивана Никитича. Ура!

— Ура! ура! — проговорили Братшпис и Бонов, и четыре бокала были осушены залпом.

Затем все уселись по местам; но через несколько секунд Братшпис завопил ужаснейшим голосом: «Измена! Измена!» Лицо его страшно искривилось. Щекалкин, вытараща глаза, смотрел сначала на него с удивлением, но вскоре последовал его примеру и огласил комнату ужаснейшим криком. Хомкин ничего не понимал; он остолбенел от ужаса. Бонов был спокойнее всех, хотя эта картина производила и на него неприятное впечатление. Странные ужимки, которыми Щекалкин и Братшпис сопровождали самые бестолковые речи, их дикий голос, похожий и на хохот, и на плач, и на разгулье молодецкое, и на последние предсмертные вопли страдальца, кончающего в мучении дни свои, все так странно поражало чувства, что Бонов, глядя на все это, хотел уже уйти с Хомкиным домой; но любопытство знать, чем это кончится, удерживало его. В самом деле, странная вещь, странное свойство человека: на самые отвратительные предметы, на те, которые возбуждают в нас омерзение, мы и морщимся, да глядим, лишь бы в них было что-нибудь необыкновенное, оригинальное, к чему глаза наши еще не пригляделись.

Хомкин пожимал плечами. В это время отворились дверцы знакомого нам шкафа со стеклом, и оттуда вмиг выпрыгнули штук 20 человеческих фигур, бледных и в рубищах. Они горстями вынимали из шкафа золото и бросали ими в лицо Братшпису и Щекалкину; одна из таких фигур в особенности крепко нападала на Братшписа и осыпала его, кроме золота, жестокою бранью.

— Оставь меня, — прохрипел Братшпис. — Что я тебе сделал?

— Ты, что ты мне сделал? ты погубил, обыграл меня; я застрелился, бросил семью. Пришло время мести.

С криком и гиком скакали эти тени, то увлекая за собою Братшписа и Щекалкина, то бросая их, как мячи, к потолку. Через несколько времени в комнате послышался серный запах, и на лице Адама Адамовича и его товарища показалось легкое синее пламя, распространявшееся ежеминут-

но. Бонов и Хомкин содрогнулись; они хотели идти на помощь к сгорающим, но вдруг тысячи голосов закричали им:

— Оставьте! Это наши жертвы.

И Григорий Александрович и надворный советник остались как бы прикованные.

Огонь делал быстрые успехи: он вскоре обхватил шеи несчастных, потом грудь, наконец ноги, так что они стояли, как два огненных столба. От них огонь сообщился комнате — и тогда Бонов и Хомкин, видя, что дело приходит к развязке, выбежали из квартиры Щекалкина. В то время, как они вышли на улицу, где-то пробило четыре часа, и в ту же минуту раздались отчаянные крики: «Пожар! пожар!» В огромном доме началась страшная суматоха; все проснулись; начали изо всех этажей таскать мебель; иные бросали ее из окон. Сильный ветер с необычайною быстротою разносил пламя; дым клубился из-под крыши; весь верхний этаж был в огне. Прискакали пожарные трубы и начали действовать со всем самоотвержением и забвением опасностей, чтобы спасти, что можно. О загоревшемся доме не было и речи: надобно было отстаивать соседние дома. Пламя лилось бурною рекою, пожирая все, что только встречалось ему на дороге: казалось, будто дом загорелся со всех сторон. С треском валились потолки; огромные головни летали по всем направлениям; опасность угрожала целому кварталу.

Хомкин и Бонов стояли на улице и смотрели на это ужасное разрушение. Вдруг они оба как-то невольно взглянули на верх — и что же представилось удивленным их взорам? По воздуху над крышей летала целая стая самых разнообразных чертей, каких только может придумать воображение; они с радостными телодвижениями тащили за собою два обгоревших трупа, в которых, однако, были еще признаки жизни. Позади этой стаи летел один, без свиты, небольшой чертенок с большою толстою книгою в руках и с пером за ухом. Наружность его была самая отвратительная. Лицо желтое, изрытое уродливыми рябинами; вместо волос на голове висело у него несколько ободранных мочалок; ноги кривые; ну словом — черт во всей форме. Он важ-

но вынул перо из-за уха, и Хомкин ясно видел, как он внес в свою книгу, оказавшуюся книгою прихода и расхода, следующие две статьи: прибыли сегодня, такого-то числа, месяца и года, по адскому счислению:

1) Немец Адам Адамович Братшпис.

2) Титулярный советник и кавалер Щекалкин.

За сим Хомкин и Бонов, видя, что все уже кончено, что соседние дома будут отстаивать, отправились домой.

IX

Что же далее?

Разумеется, Хомкин, убедясь в важности услуги, оказанной ему Боновым, умел склонить сожительницу свою к соединению Григория Александровича законным браком с Аннушкой. Они жили и живут превесело, здесь, в Петербурге. К несчастью, на днях переменили квартиру, так что я вам не могу наверное сказать, куда они переехали. О Братшписе и обо всем зле, которое он им наделал, у них не было никогда и речи; воспоминание о нем причислено к числу дурных снов, иногда нас тревожащих. У г. Бонова недавно родился сын. Я был на крестинах. Славный мальчик.

Хомкин совершенно исправился и выздоровел. Он вовсе не играет в карты и даже боится их видеть в руках женщин, раскладывающих гран-пасьянс. Его лицо приняло прежний вид; он потолстел и представляет теперь совершенно ту же фигуру, как мы видели его на первых страницах этого рассказа. Одни только волосы седы. Ему ведь около шестидесяти! Марья Алексеевна по-прежнему вяжет чулок. Она выдумала новый способ как-то искусно вывязывать пятку и намерена на днях объявить об этом в газетах и просить привилегии на исключительное право вязать чулки с такими хитрыми пятками.

Вот, кажется, подробный отчет о всех лицах. А княгиня-то? Ба, ба; я, было, и забыл о ней. Впрочем, дамы хорошего тона любят быть в хорошем обществе. Я весьма премуд-

ро сделал, что не говорил о ней в одно время с плебянами, поставивши ее одну-одинехоньку в

ЭПИЛОГ

Утро.

Княгиня сегодня, как и всегда, ужасно страдает головною болью. Она сидит, раскинувшись живописно в широких креслах, и слушает рассказы двух дам, приехавших навестить ее.

— Скажите, княгиня, — спросила одна из них, — где ваша компаньонка, эта милая девица, которою мы так все восхищались?

— Было чем восхищаться, признаюсь, — отвечала княгиня. *Vous ne savez donc pas?*

— *Non, rien, absolument rien.*

— *C'est une horreur**. Она замужем.

— Так что ж? тут нет ничего дурного.

— Не в том дело. Она осмелилась принимать здесь, у меня в доме, в этой комнате, *j'en meure de honte!* своего возлюбленного; уверяла, что это ее братец двоюродный из Казани, из Рязани, из Калуги — Бог знает откуда. Этакая мерзость, и что всего хуже, *e'est une abomination!*** я сама с ним около получаса говорила.

— Карета вашего сиятельства подана, — сказал вошедший лакей.

— *Excusez, mesdames*, мне надобно выехать, доктор непременно велел ездить гулять. *Que dites vous de cette petite?* Какова?

— *Mais e'est une horreur, madame la princesse.*

— *Une detestation!**** Прощайте, княгиня, до свидания.

* Так вы не знаете? — Нет, ничего, абсолютно ничего. — Это ужас (*фр.*).

** К стыду сказать ... такая мерзость (*фр.*).

*** Простите, дамы... Но что скажете об этой малышке? — Просто ужас, госпожа княгиня. — Отвратительно! (*фр.*).

Василий Ушаков
ГУСТАВ ГАЦФЕЛЬД

— ... Нынче на эту штуку никого не подденешь! Передержка тогда удастся, когда ее не подозревают или понятия о ней не имеют. А теперь, благодаря просвещению — и это я говорю не в насмешку над просвещением — теперь, пятнадцатилетнему известны вы все игрецкие фокусы!

— Да, как же! — сказал усач. — Все известны! Полагайся на это! узнают старое — изобретется новое. Ум человеческий неистощим на выдумки. Карты существуют и будут существовать до скончания мира. Не думаешь ли ты, что дело их ограничится коммерческими играми, бостонами, вистами, дураками и, наконец, безгрешным гран-пасьянсом? Дождись! Ни просвещение, ни философия, ни совесть, ни честь, ничто не сделает из карт вещи безгрешной: яд всегда будет яд, — не приучишь к нему человеческих желудков.

— А в аптеках яд держится для здоровья! — сказал Гацфельд с живостью и видимо обрадовавшись удачному возражению.

— Умно сказано! — спокойно отвечал усач. — Только, не смотря на аптеки, слово «отравитель» не выходит из всеобщего употребления и не исключается из словарей...

— Не об этом речь, приятель! — возразил Кардинский. — А ты сказал, что карты будут существовать до скончания мира. Откуда им далось такое бессмертие? почему ты знаешь, что картежная игра не будет иметь одинаковой участи с рыцарскими турнирами, которые в свое время почитались делом важным, необходимым и почетным, а теперь остались только в воспоминании, да на сцене, — пожалуй, еще на картинах!

— Другое дело. Рыцарские турниры прекратились вместе с рыцарством, а рыцарство прекратилось вместе с изобретением пороха и...

— Довольно, братец, довольно! Мы, с позволения твоего, займемся этим неистребимым злом... Подайте нам карты!

Составился бостон, в котором не участвовали только Гацфельд и усач. Последний молча курил трубку; а первый, взявши старую колоду карт, метал ею банк, часто останавливаясь, и что-то нашептывал. Это продолжалось с полчаса. Наконец усач спросил:

— Вы, верно, гадаете?

— Нет, — отвечал Гацфельд. — Я доискиваюсь расчета, по которому можно угадать карту наверное... Надобно считать очки каждого абцуга, и сколько выйдет более пятидесяти двух, такую карту ставить. Вот, например, здесь в четырех абцугах вышло пятьдесят семь, — надобно ставить пятерку. Вот... убита, злодейка!

— Видно, расчет не совсем верен! — сказал усач, улыбаясь.

— Дело в том, что иные считают фигуры, валета за одиннадцать, даму за двенадцать и короля за тринадцать; другие — фигуры вовсе не считают; а еще можно каждую фигуру полагать в тринадцать.

— Да на что вам это?

— Как на что? годилось бы, если бы узнал штуку! Выиграть сотню-другую тысяч — не худо!

— Не худо их иметь, если можно получить законным образом, только не картами.

— Почему же не картами? Ведь не плутовски, не обыграть кого наверняка, а сорвать где-нибудь, в чужих краях, публичный банк...

— Или в своем отечестве облупить порядком шайку записных игроков? Это было бы почти доброе дело, если бы самое средство не было слишком гнусно.

— Какое средство?

— Ну, самая игра в карты. Разве это хорошее средство?

— Да почему же нехорошее? Ведь нет греха выиграть в лотерею?

— Нет греха выиграть, а играть, по моему мнению, большой грех. Какая душа, какой ум могут сохраниться в человеке, который половину дня всем сердцем, всею крепостию и всем помышлением предан разбору и расчету тринадцати карт, попеременно попадающих ему в руки? Если излишняя ученость иссушает душу, что и справедливо — то что же делают карты, которые требуют не менее и даже более внимания, нежели самое глубокомысленное изыскание археолога, антиквария, математика, философа и... всей ученой братии!.. Видно, вас это очень занимает? — сказал на-

конец усач Гацфельду, который все перекидывал карты.

— Ему досадно, что ты его не слушаешь! — проговорил один из играющих.

Гацфельд равнодушно отвечал:

— Занятия тут нет никакого. А так... от нечего делать... шалю!

— Вредная шалость! такими опасными вещами не шутят!

— Лежат вам на душе эти карты. Не беспокойтесь, я совсем не игрок.

— Можете им сделаться!

— Навряд! Мне уж двадцать восьмой год.

— Не прошло ли двадцать восемь минут с тех пор, как вы сказали, что не худо бы выиграть сотню-другую тысяч?

— И теперь то же скажу.

— Вот и первый шаг к картежной игре! Стоит только узнать расчет или другой легкий фортель.

— При всем моем уважении к вам, — сказал наконец Гацфельд, — не могу не заметить, что ваши опасения и предостережения довольно забавны.

Усач покраснел.

— Забавны! прибавьте: основаны на слабоумии, на суеверии, потому что я верю гаданию в карты, да, верю! А таинственному, дьявольскому расчету, посредством которого можно, к собственной гибели, поработить себе счастье, удачу, непременный выигрыш, — этому расчету я не только верю, я в нем убежден. Он существует, и полковник Ли-хаев, которого вы знаете лично, может вам засвидетельствовать, что, назад тому пятнадцать лет, он сам воспользовался таким расчетом и тем избавился от большой беды. Спросите у него.

— И он не скажет! — проговорил Кардинский.

— Скажет! — возразил усач. — Да, скажет, что это была шутка, что он выиграл тогда наудачу, а не на расчет. А назовите ему Ивана Адамовича Шица, и он в минуту побледнеет или покраснеет.

— Что за Иван Адамович Шиц? — живо спросил Гацфельд.

— О, как загорелось ваше любопытство! По совести, мне бы не следовало сказывать; но, так как я уже проговорился, и сверх того вы объявили, что вам двадцать восьмой год и вы искушения не боитесь, то узнайте, что Иван Адамович Шиц таинственное лицо, каждый год являющееся в Киеве, особливо во время контрактов. Неизвестно, чем он живет, какой его промысел, и даже какое происхождение. Знают только, что он крещеный жид, чисто говорит по-русски, очень хорошо образован, не богат и не беден. Он-то открыл Лихаеву важную тайну картежной игры, а сам ею не пользуется.

— Да что за важная тайна? — сказал Кардинский. — Лихаеву удалось как-то выиграть пятнадцать тысяч. Велика сумма!

— Да, пятнадцать тысяч на четыре карты. Сумма очень велика, если рассчитать, что Лихаев мог поставить только тысячу, которую занял у того же Шица; да и банк был такого рода, что немного более можно было взять. А важно то, что Лихаев накануне проиграл восемь тысяч казенных и хотел застрелиться. Следовательно, секрет Шица спас ему и жизнь, и честь; это стоит миллиона!.. Однако, мне пора. Прощайте. А вам, милостивый государь, — прибавил он, обращаясь к Гацфельду, — я оставил на память задачу, которую вы потрудитесь сами решить.. А что без решения вы ее не оставите, за это я готов отвечать головою.

Все засмеялись, и усач ушел.

— Его шутки далеко заходят! — сказал Гацфельд с недовольным видом.

— Не сердись! он в молодости поссорился за вистом с добрым приятелем и отличным офицером, которого за эту безделицу убил на дуэли. С тех пор он сделался заклятым врагом карт, и, когда пойдет о них речь, он всегда и всем читает такую же мораль, как тебе.

Это происходило в 1819 году, в Украине, в штабе дивизии, которой свитский капитан Густав Гацфельд был квартирмейстером. Это звание доставляло ему знакомство с старшими офицерами, в числе коих знал он, довольно коротко, полковника Лихаева. Но на другой же день после бесвязного, истинно военного разговора, в котором угрюмый усач вывел наружу картежную тайну Лихаева, Гацфельд и не думал о задаче, с такими угрозами оставленной ему на решение. У него была другая забота, забота важная, вместе и горе, и счастье, и непростительная ошибка, и необходимейшая потребность нашей юдольной жизни. Эта забота была не иное что, как любовь, слишком далеко заведенная.

По должности своей, Гацфельд часто объезжал города, местечки и деревни, занимаемые дивизиею. В четырех верстах от штаба отыскал он небольшое поместье, которое держал на аренде старый польский пан, живший там с женою и племянницею. Местоположение деревни было прекрасное; домик чистенький, окруженный плодовыми садами; хозяин, пан Гулевич, оказался человеком веселым и радушным; супруга его была отличная домоводка, славно варила кофе и делала пунш мастерски; племянница, панна Анеля, по-русски Ангелика, была живая, веселая, прелестная девушка, правда, за двадцать лет, но все еще в полном блеске молодости и, можно сказать, красоты. Все это очень понравилось Гацфельду, и, по собственному его признанию, напоминало Саксонию или берега Рейна, которые тогда не выходили из головы у русских воинов, делавших знаменитые кампании 1813 и 1814 годов. Вдобавок к тому, сам пан Гулевич пожаловался господину квартирмейстеру на свое несчастье, что не удостоился он иметь на постое офицера, а принужден был держать *ундера* с его капральством. Этому горю нетрудно было помочь. Гацфельд перевел унтер-офицера в другое место, а в доме пана Гулевича назначил себе загородное местопребывание, разумеется, не постоянное, а так, вроде увеселительного замка, куда он уезжал в досужее время подышать свежим воздухом, побеседовать с словоохотным паном, похвалить кофе и пунш, которым угоща-

ла его хозяйка, и наконец безвинным образом поамуриться с милою панною Анелею.

Это продолжалось около двух месяцев, и сделалось любимым занятием Гацфельда, которым он не делился ни с кем из товарищей. Правда, у него их и не было в полном смысле слова: он был один в своей должности, и маленький его эгоизм насчет приятного посещения дома пана Гулевича был делом довольно естественным и не подстрекал ничьего любопытства. Его амур с панною Анелею были чистые польские *умизги*, то есть, обхождение короткое, дружеское, несколько вольное, но совершенно безгрешное, чему ни пан Гулевич, ни супруга его нисколько не противились, вероятно, по привычке. Однако... кто бабушке не внук! Не нужно описывать, как случилось, только Гацфельд одержал неожиданную и не слишком желанную победу над сопротивлением панны Анели. Это, по-видимому, дело обыкновенное на военных стоянках, и опытный товарищ, пожалуй, поздравил бы победителя с счастливым успехом. Но Гацфельд, до тех пор, был молодой человек очень хорошей нравственности: вместо легкомысленной радости, он почувствовал угрызения совести. А когда пан Гулевич с благородным негодованием сказал ему, что он самым бесчестным образом заплатил за гостеприимство и за дружеский прием, когда г-жа Гулевичева в отчаянии начала осыпать упреками бедную племянницу и спросила ее, как грозный судья: «Что теперь с тобою будет?», когда бедная девушка с твердым духом объявила, что будет с нею, что Богу угодно; что она без принуждения, без обмана, добровольно отдалась Гацфельду; что с той минуты почитает себя ему принадлежащею; что если не может быть его женою, то останется его верною любовницею; что если он и этого не захочет, то она готова быть его служанкою... о, когда Гацфельд все это выслушал, то он в свою очередь с благородною твердостью объявил, что, хотя по зависимости от родных и от начальства, он ничего вдруг предпринять не может, но что панна Анеля убудет непременно его женою.

Это обещание всех успокоило. Густав и Анеля поплакали; дядя с теткою также; потом все расцеловались, и оста-

ток страшного дня объяснения провели очень весело. Но дня через два, пан Гулевич приступил к объяснениям другого рода. Он вменил себе в обязанность предупредить Гацфельда, что нареченная его — круглая сирота, чистого дворянского происхождения, но не имеет ничего; что он, пан Гулевич, скопил для нее две тысячи рублей серебром в приданое; да по смерти его и жены достанется ей столько же, что составит капитал очень и очень умеренный, даже для дешевой украинской жизни. Гацфельд, с своей стороны, был чистосердечен, и, не следуя примеру молодых хвастунов, признался, что и он очень небогат. Обстоятельства его были таковы.

Отец его, лифляндский дворянин, воспитывался в Пруссии, в военном заведении короля Фридриха Второго. Оттуда перешел он в русскую службу, по инженерной части, где впоследствии был генералом. Он не имел никакого наследственного состояния, и уже в зрелых летах женился на небогатой русской дворянке, псковской помещице, которой деревня была почти на границе Лифляндии. По смерти генерала Гацфельда, вдова его получила пожизненную пенсию в тысячу двести рублей серебром, которую получал ее муж. Оставшийся после генерала дом в Петербурге и драгоценные вещи были проданы в пользу его малолетнего сына Густава. Вырученный капитал взял к себе его дядя, Гацфельд, лифляндский помещик, бездетный вдовец. Этот дядя признал себя должным племяннику десять тысяч рублей серебром, с которой суммы, вместо процентов, присылал ему ежегодно по три тысячи рублей, да его же назначил наследником своего поместья, приносящего в год до восьми тысяч рублей, с таким условием, что, вместе с получением имения, уничтожается его долг молодому Гацфельду. Старшая сестра Густава была замужем за псковским помещиком, и была наследницей восьмидесяти душ, принадлежащих ее матери, которая и проживала в своей деревне верстах в пятидесяти от дочери и почти в таком же расстоянии от лифляндского имения Гацфельда. Старая генеральша, вместе с пенсией, получала в год до семи тысяч рублей, но, так как привыкла жить в изобилии и прилично своему

чину, то не могла ничего уделять из своих доходов сыну, а иногда присылала ему в подарок триста или пятьсот рублей.

Из этого подробного отчета видно, что Густав был в совершенной зависимости у своего дяди, который всегда имел право выплатить ему небольшой капитал и лишить наследства; сверх того, генеральша Гацфельд неоднократно изъявляла желание, чтобы возлюбленный ее Густав приехал в отпуск и выбрал бы себе одну из трех невест, псковских помещиц, которых она ему прочила. У старой генеральши лежало на душе то обстоятельство, что сын ее родился в Голландии, где она с мужем провела два года, и там, по нужде, был он крещен в протестантском исповедании, в котором оставался до сих пор. Итак, мудрено было думать, чтобы генеральша, в довершение такого разноверия с нею и с ее дочерью, позволила ему жениться на католичке. Все это сам Густав пересказал пану Гулевичу, но прибавил к тому, что в его отношениях к панне Анеле совесть и честь страждут слишком много, почему он решился с нею объясниться и просить ее согласия на брак с Анелею очень и очень настойчиво. То же должно было быть и с дядею, человеком строгим и довольно раздражительным. Но время объяснения Гацфельд откладывал до получения чина подполковника, которого ждал очень скоро. Тогда, по мнению его, он будет иметь верное средство получить место, приличное человеку женатому и небогатому. Этому намерению должно было способствовать и то, что он был ранен два раза, а служил хорошо, что доказывалось полученными им во время кампании двумя чинами и тремя знаками отличия, кроме прусского ордена пур-лѐ-мерит*. Обеспечивши себя таким образом насчет службы, он мог подвергнуться года на два или на три гневу матери и дяди, хотя это и почитал он большим несчастьем.

Во всем этом было в виду более горя и затруднений, нежели радости и прочного земного счастья. Но последнего и надеялся молодой Гацфельд. Его должны были доста-

* От *фр.* pour le merit, за заслуги.

вить ему не доходы и не поместья, а любовь его милой Анели, ее кроткий, веселый нрав, ее привычка к порядку и к домашней экономии, которыми Густав дорожил более, нежели хорошим приданым. Так, по крайней мере, он говорил. Сверх того, его Анеля умна, порядочно говорит по-французски и играет на фортепьяно; эти два пункта ее воспитания должны были еще усовершенствоваться, и он этим сам займется, потому что знает сам очень хорошо французский язык и отлично играет на скрипке. Он будет вместе с Анелею читать лучшие книги, разыгрывать дуэты, будет ей пояснять красоты словесности и музыки, и непременно образует ее вкус. Такую миленькую, хорошенькую, образованную женку не стыдно будет показать ни в Лифляндии, ни в Псковской губернии, ни даже в обеих столицах. И матушка и дядюшка полюбят ее без души. О доброй сестре и говорить нечего: та нежно любит милого брата, и все любезное ему будет близко ее сердцу... счастье, одно счастье в виду.

Товарищи кое-что проводили о жителях так называемого увеселительного замка Гацфельда, и начали подтрунивать над прекрасною Анелею, которой насчитали двадцать пять лет от роду. Но Густав прекратил все шутки, объявив ее своею невестою. С тех пор он начал являться с нею и в городе, и все его знакомые и товарищи обходились вежливо и даже почтительно с будущей его супругою. Многие радовались, что в штабе у них заведется милая дама, с которою приятно будет проводить время. Это очень льстило Гацфельду и усиливало его любовь.

Между тем, по праву жениха, он не только начал делать подарки своей Анеле, но стал даже исправлять многие потребности дома ее родственников. Часто недоставало того или другого: Густав не хотел, чтобы в чем-либо был недостаток; он брался все сам закупить, и на дельные замечания бережливой тетюшки Гулевиичевой отвечал, что это стоит безделицы; правда, не более и стоило, но чрез полгода оказалось, что на исправление этих безделиц потрачено более пятисот рублей. А Гацфельд, получавший очень хорошее годовое содержание для неженатого офицера, не привык нуждаться в деньгах и в чем-нибудь себе отказывать. Лишние расхо-

ды заставили его прибегнуть к расчетливости, и он приступил к ней не со стороны ограничения своих издержек, а со стороны возможного увеличения доходов. Он смекнул, что дядюшка, посылая ему ежегодно по три тысячи, платит ему только семь с половиною процентов с его капитала; а от родного опекуна и благодетеля не грех получать по десяти процентов. Он решился объяснить об этом с дядею, и написал к нему превежливое, даже пренежное и преубедительное письмо... Но ответ был неблагоприятен, гораздо выше всех ожиданий. Послание старого Гацфельда начиналось упреками в неблагодарности и в гнусном корыстолюбии; засим следовало напоминание, что за дом и вещи покойного генерала было выручено только семь тысяч триста сорок рублей *ассигнациями*, которых курс с того времени значительно переменялся; но что он, дядя, своими благоразумными распоряжениями умел так сделать, что племянник его от этого ничего не потерял; что сверх того, при всех издержках на его воспитание, он, дядя, умножил вверенный ему капитал более, нежели третью частью, что лучше этого не поступит не только ни один опекун, но даже отец родной; что, в довершение таких благодеяний, он делал его наследником своего имения, и что если он, племянник, не умеет этого ценить, то он заслуживает название неблагодарного негодяя; что требуемой им прибавки процентов он, дядя, дать не может, получая невступно* восемь тысяч годового дохода и не считая себя обязанным, в угодность племяннику, лишиться под старость всех удобств жизни; что кроме того, он, дядя, по совести своей, должен наградить тех людей, которые ему служат и покоят его; что известная племяннику госпожа Брандт уже двадцать лет управляет домом его, дяди, и за усердную свою службу не имела до сих пор никакого награждения; что ныне она, г-жа Брандт, выдает замуж свою единственную... племянницу и что он, дядя (не племянницы, а Густава Гацфельда), как человек благомыслящий и с христианскими чувствами, отдает за нею в приданое мызу (имярек), приносящую дохода тысячу две-

* Немногим меньше.

сти рублей, чем собственное его содержание значительно уменьшается; что, если он, племянник, недоволен получаемым им, то может взять свой капитал, но в таком случае он лишится наследства после дяди. В заключение сказал, что на сей раз он, дядя, прощает ему, Густаву Гацфельду, его неблагодарность и неблагодарность и о поступке его не извещает его матери, ожидая чистосердечного раскаяния виновного племянника.

All, diantre!* Вот это называется несчастьем! Вместо чаемой прибавки, оказывается убыль в будущих благах; а если Бог продлит дни дядюшки, то легко может статься, что благомыслие и нежные чувства вынудят его передать еще какую-нибудь мызу племяннице бескорыстной г-жи Брандт!.. Это заставило призадуматься Густава Гацфельда, и он, вместо требуемого дядею раскаяния, почувствовал, что не худо человеку в его положении иметь свое независимое достояние. Да где его взять?

Другое, маловажное обстоятельство усилило в нем эту думу. Он как-то достал билет гамбургской лотереи, о котором мало думал. Вдруг один из его знакомых поздравил его с выигрышем, а во сколько, он не знает. Обрадованному Гацфельду многое впало в голову. Он справился о своем счастье, и... что же оказалось? Рублей шестьсот или семьсот в последнем классе, где бывает и стотысячный выигрыш! Да это насмешки со стороны фортуны!... Как тут на нее не пожаловаться! А знакомый, обрадовавший его пустою надеждою, сказал равнодушно:

— И это годится! Рискни в карты твой выигрыш; авось, возьмешь более!

— Я в карты не играю, — грустно отвечал Гацфельд.

В таком-то был он положении, когда, для шутки, начал доискиваться секрета верного картежного выигрыша.

* Черт возьми! (*фр.*).

Полковник Лихаев был, что называется у молодых военных, *старик*, то есть человек, который летами и степенностью старше своего чина. Лихаев имел отроду сорок лет, считал двадцать три года службы в офицерском чине, никогда не находился в резервах, делал все кампании, был обвешан крестами, а чин полковника получил недавно, и то за отличие уже после войны. Сверх того, он был женат, имел с полдюжины детей и любил делать нравоучения молодым офицерам. Старик! почтенный старец!

Лихаев очень благоволил к Гацфельду, которого всегда называл *солидным* молодым человеком. Он редко с ним виделся по причине редких сношений по службе и отдаления его полкового штаба от дивизионного. Однажды вечером, Гацфельд получил записку писарской руки, такого содержания: «Прибывший сего числа в город полковник Лихаев просит вас пожаловать к нему завтра в 11 часов». Гацфельд явился.

— Вы мне приказывали, полковник...

— Да, любезный Густав Федорович, приказывал, именно приказывал! Я должен с вами поговорить серьезно; об вас носят странные слухи; я не хотел ничему верить, не справившись сам порядком... Вы меня извините.

— Что вам угодно?

— Я всегда был об вас хорошего мнения, и теперь еще не имею причины его переменять. А скажу вам откровенно, что вы затеываете большую глупость... Не прогневайтесь!

Лихаев обыкновенно говорил Гацфельду «ты»; а когда делался вежливее и употреблял местоимение во множественном — это доказывало его неудовольствие.

— Объяснитесь, полковник!

— Вы намерены жениться. Это большая глупость! Извините!

Гацфельд усмехнулся.

— Вспомните, полковник, что вы сами виновны в такой же глупости.

— Именно! неоспоримо! Я сделал эту глупость, и потому считаю себя вправе предостерегать от нее других.

— Это сознание — не слишком лестный комплимент для

Елисаветы Андреевны!

— Не об ней речь, любезнейший! Женитьба дело доброе и почти неизбежное; да когда за это дело принимают необдуманно, без расчета — то это называется глупостью!

— Кто же вам сказал, что я не обдумал и не рассчитал? — спросил Гацфельд с недовольным видом.

— Самое дело это доказывает. Не сердись, любезнейший Густав Федорович, а лучше выслушай меня терпеливо. Ты, конечно, обдумал и рассчитал по-своему, так как и я во дни оны рассчитывал! Ты любишь свою невесту, она тебя любит. Ваша любовь требует удовлетворения; следовательно, ты должен жениться. Ты небогат: она и подавно. Что за беда? вы малым будете довольны! Любовь вам заменит все. Зачем тебе терять прочное счастье любви из каких-нибудь суетных, даже гнусных, корыстных расчетов? так ли ты думал?

— Положим, что так! — с досадою отвечал Гацфельд.

— Вот видишь, я угадал! Теперь выслушай мой расчет. Женитьба есть важный и даже важнейший шаг в жизни; следовательно, требует большой осмотрительности и побудительных причин к его совершению. Осмотрительность ты отложил в сторону, а причин других не имеешь, кроме любви. Но любовь есть страсть, а страсть должна быть удерживаема в границах благоразумия, даже побеждаема им. Это обязанность человека, и в этом состоит вся его мудрость, наука его жизни. Ежели бы ты не упустил ее из вида, то не забыл бы и другого, обстоятельства: например, ты вспомнил бы, что у тебя есть мать, природная дворянка, чиновная дама, которой никак не может быть приятно, если сын ее женится на бедной польской шляхтянке, которая по-настоящему и не дворянка, и вдобавок просидела в девках до двадцати двух лет, разумеется, по недостатку женихов, следовательно, как будто забракована мужчинами равного ей звания. Этим ты огорчишь и оскорбишь свою мать. Положим, что дело уладилось бы с этой стороны. Но ты берешь жену, существо слабое, которое должно в трудах и болезнях рождать детей, следовательно, вправе ожидать от тебя

помощи, успокоения, облегчения всех забот жизни. Можешь ли ты ей все это обещать, имея самые ограниченные средства к содержанию одной своей особы, а что всего важнее — не имея надлежащего понятия о всех потребностях семейного быта! Ты скажешь, что твоя невеста готова все терпеть, все переносить. Но терпеть и переносить не значит быть счастливым. Какая же крайняя надобность подвергать ее несчастию? Поверь мне, я все это испытал на себе, потому что женился в молодых летах, без состояния и без надлежащего расчета. Мне не хотелось бы, любезный Густав Федорович, чтобы и ты все это испытал, когда дело может обойтись без такого истязания.

— Очень вам благодарен, полковник, и в свою очередь попрошу вас меня извинить за откровенность. Ваше рассуждение основано на непрочности человеческого счастья; это такое горе, которого избежать нельзя: много забот в супружестве, много их в одиночестве, если даже не больше. А надобно быть в том или в другом состоянии! Если бы женились только богатые или замуж выходили только девушки с большим приданым, то, позвольте спросить, много ли состоялось бы браков в целом мире? А между тем, люди женятся и живут без богатства! Укажу вам не на крестьянский и не на пастушеский быт, а на нашу братию чиновников, живущих одним жалованьем, которое бывает и менее моих доходов. Сколько мы их видели, живущих без крайней нужды?

— А где это мы их видели?

— Ну, хоть в чужих краях; сколько раз в Германии...

— Поймай, любезной друг, позволь себе напомнить, что мы не в Германии, а в России. Так, правда, что в Германии добropорядочный человек, как только имеет должность или ремесло, так имеет средство содержать свое семейство; почему? потому что там нужда научает жить сообразно с своими доходами, а не с своим званием. Там жена равночинно тебе инженерного капитана не стыдится продавать чулки и колпаки собственного вязания, а иногда и стирать белье для других; супруг ее преспокойно отдает своих детей в обучение какому-нибудь ремеслу, и не сокрушается о том,

что сын его благородия готовится в сапожники или в портные. Такое ли у нас обыкновение, любезный друг? и решишься ли ты первый его нарушить? Конечно, ты сгоряча объявишь себя на все согласным; и я так же храбрился; а когда пришлось испытать это на деле, — куда было тягостно! сколько раз, с душевною горестью, поглядывал я на жену, да и она на меня! мы молчали, а что чувствовали — это Богу известно!... А когда пошли дети, с ними кормилицы, няньки, лишняя комната, лишняя провизия, а в доходах лишнего не оказывалось... Ты говоришь, что не одни богатые женятся. Не богатство и нужно, а непременно должно иметь в запасе необходимое; у тебя его нет, рассчитай сам хорошенько. Послушайся меня, любезный Густав Федорович; не торопись, отложи до времени свое намерение, а если можно — оставь его совсем. Ты еще не так далеко зашел в этом деле...

Гацфельд покраснел.

— Что с тобою?

— Полковник! вы человек благородный. Вы не употребите во зло моей доверенности. Я вам откроюсь...

— Что? — спросил Лихаев, как будто напугавшись. — В чем ты откроешься?

Гацфельд признался во всем.

— Ну, худо, браг! а делать нечего! К довершению всех бед я вижу, что тебя обманули, что называется, поддели... Не иначе! Им хотелось сбыть с рук перезрелую девку, и она допустила себя до преступления... Не сердись! в мои лета позволительно быть недоверчивым... Как бы то ни было, а дело сделано! Женись и, в наказание за свой проступок, познай всю тягость такой женитьбы!.. Теперь я еще более жалею о том, что родители твои небогаты. Десяток-другой тысяч уладили бы все дело, и ты избавился бы от такого постыдного супружества!

— Вы меня обижаете, полковник! Вместо всех этих упреков, согласитесь лучше мне помочь.

— Чем?

— Да тем же, чем вам помогли, когда вы по молодости проиграли казенные деньги.

— Кто тебе это рассказал? — спросил Лихаев очень спокойнo.

— Это всем известно.

— А если и до тебя слухи дошли, то я не отпираюсь. Подлинно, в то время провидение сжалилось надо мною. Я, по молодости, сделался преступником; по той же молодости хотел загладить это другим ужаснейшим преступлением, которого всей важности не понимал: я хотел лишить себя жизни. Судьба умилосердилась надо мною и дозволила мне воспользоваться средством очень непозволительным и даже преступным. Я говорю «судьба дозволила», потому что этого средства я не искал и теперь не знаю, в чем оно состоит. Мне назвали четыре карты, которые непременно мне выиграют, дали тысячу рублей, и... в два часа все было кончено. С тех пор я поклялся не брать карт в руки, и не брал их, уверяю честью. Впрочем, если бы я узнал этот секрет, то не объявил бы его тебе. Это грех, и ты без него можешь обойтись.

Слова Лихаева сильно подействовали на Гацфельда. Он наговорил ему так много, с таким видимым убеждением, что бедный молодой человек не нашел в уме своем никакого сильного возражения: он вынужден был поверить строгому и опытному полковнику. Всего хуже то, что в сердце его не нашлось никакого утешительного предчувствия. Приятные мечты, разрушенные ужасными предсказаниями, — вот все, что у него осталось. Он узнал, что Лихаев пробудет в штабе еще три дня и решился вторично с ним объяснить и вынудить его хотя несколько смягчить обещанную ему суровую долю, как будто это зависело от Лихаева! Так отчаянный больной настоятельно требует обнадежения, хотя бы несбыточного.

— У них гости, — сказано было Гацфельду в передней.

— Кто?

— Какой-то приезжий господин.

Делать нечего, надобно было войти.

Он увидел у Лихаева пожилого человека с большими черными глазами, с длинным носом и вообще с превратительною восточною физиономиею. Хозяин не потрудил-

ся с первого раза отрекомендовать Гацфельда своему гостю, а, усадивши его, поговорил с ним о посторонних предметах. Между тем, незнакомец внимательно вглядывался в Густава, и не один раз взорами спрашивал Лихаева, кто это. Наконец полковник догадался:

— Наш добрый товарищ, Густав Федорович Гацфельд.

— Я не ошибся, — сказал незнакомец. — Черты вашего лица мне известны, и я полагаю, что не ошибусь и теперь, если признаю в вас сына генерала Федора Карловича Гацфельда.

— Я точно его единственный сын.

— Позвольте мне покороче с вами познакомиться, или, лучше сказать, возобновить самое старое знакомство, какое только вы можете иметь. Я был в вашем доме в самый час вашего рождения. Это было в Голландии, где я, как и в России, пользовался милостями и благосклонностью вашего почтенного родителя.

— Позвольте мне узнать...

— Это мой старинный приятель, Иван Адамович Шиц, — сказал Лихаев. — Более тебе знать не нужно.

Более и не нужно было Гацфельду. Полковник сказал это в избежание всяких лишних объяснений, которые дошли бы до открытия, что этот старинный приятель крещеный жид. Но память Густава не обманывает его: Иван Адамович Шиц, будь он жид или татарин, все равно; только это именно тот мудрец, тот колдун, которому известна важная тайна верного выигрыша. И, как говорил Лихаев, что судьба жалилась над ним, доставив случай воспользоваться этим секретом, то не видимо ли теперь счастье помогает Гацфельду, наводя его так неожиданно на то же самое? Он пришел к Лихаеву потолковать о своем горе, и вот, как нарочно, явился помощник этому горю. А что всего важнее, не нужно с ним знакомиться: он сам объявил себя покорным слугою бедного Густава.

— Жаль только, — сказал Шиц, — что это приятное для меня знакомство ограничится сегодняшнею встречей: я завтра еду в Киев.

— И я туда еду через неделю, — поспешно сказал Гац-

фельд.

— Как? зачем? — спросил Лихаев.

— По некоторым собственным делам... я должен там побывать...

Он солгал. Поездка в Киев не приходила ему в голову; но мгновенно породившееся намерение не отставать от Шица заставило его в одну секунду рассчитать, что Киев недалеко, и он без всякого затруднения получит отпуск на неделю.

Шиц обрадовался этому и оставил Гацфельду свой адрес в Киеве. Как сказано, так и сделано. Густав запискою уведомил Шица о своем приезде, и был им принят в тот же самый день, по вечеру.

Шиц читал и принял гостя, не вставая и не закрывая книги...

— Вы заняты? — сказал Гацфельд.

— Это мое всегдашнее занятие в досужное время.

Густав заглянул в книгу. Шиц усмехнулся.

— Хотите ли знать, что в ней написано? — сказал он. — Вот что: «К чему стремится человек? к лучшему, которого он ищет не столько в себе, сколько вне себя. В чем состоят все его занятия, все заботы? В изобретении и в приобретении. Вот весь труд ума, сердца и рук! Удовлетворяются ли наши желания с этой стороны? Есть ли что приобретать и изобретать? Есть, имеется до неистощимости, до бесконечности, до полного пресыщения. Все, что служит к удобствам, к наслаждению, даже к роскоши, всего этого есть довольство, все это ожидает только находки и разработки, все это неисчерпаемо, не имеет границ, всего достаточно для нашей алчности до скончания мира. Сокровищница неизмеримая!... Но довольствуемся ли мы этими обильными дарами, этими беспрестанно вознаграждающимися удовлетворениями? увы, нет! Нам тесен рай земной; нам мало владычества над всякою тварью и над всяким произведением. На ухо тайно шепчет нам искушитель: “Вы сами можете быть богами! вы можете постигнуть и предвечную мудрость и всемогущество! вы можете поработить себе судьбу и можете управлять ею по произволу!” И мы верим. Ах, хоть бы мифология сжа-

лилась над тщетным мучением человечества и доказала бы ему, что оно, как Тантал, находясь между недоступными снедью и питьем, добровольно томится голодом и жаждою!..» Например, вы довольны ли вы своим состоянием?

— Разумеется, что не совсем!

— Если бы вы нашли средство улучшить это состояние, воспользовались ли бы вы им?

— Без всякого сомнения!

— А если это средство непозволительное?

— Непозволительного средства я не стал бы употреблять.

— А если бы вы не были уверены, что оно непозволительно, если бы оно казалось вам безгрешным, невинным, постарались ли бы вы точно узнать, что оно таково, прежде, нежели за него приметесь?

— Гм! я думаю... что... постарался бы!..

— Несмотря на понуждающую крайность, на непреодолимое желание, на видимый и близкий успех, несмотря ни на что?

— Но это... конечно... было бы затруднительно... Но что вы хотите этим доказать?

— А то, что искушение представляется нам на каждом шагу, и мы не только не стараемся его избежать, но даже ищем его, идем ему навстречу.

Эти слова поразили Гацфельда. Он совсем не для того пришел к жиду, чтобы слушать его толкования, и, скучая разговором, сознавался в своей непонятливости. А проклятый колдун как будто угадывает цель его посещения и заблаговременно отражает его попытки. Но этим-то именно и должен был воспользоваться Гацфельд, если не хотел уйти домой без ничего. Не нужно было откладывать до другого времени.

— Я очень вам благодарен за пояснение этой тайны. Но вы могли бы мне оказать большое благодеяние, если бы открыли другую тайну, вам одним известную и состоящую в полном вашем заведовании.

Шиц пристально на него посмотрел.

— Что вам угодно? — спросил он таким тоном, каким де-

лают тот же вопрос незнакомцу, являющемуся с просительным письмом.

Гацфельд, вооружась всею твердостью духа и, так сказать, отложивши стыд и совесть, приступил к длинному объяснению напоминанием о своем отце, который оставил ему, как богатое наследство, право короткого знакомства с Шицем и даже право ожидать от него помощи; потом в подробности описал все свои обстоятельства; сознался в своем проступке, доказывал необходимость загладить его женитьбою, старался в самом мрачном виде представить горькую участь, ожидавшую его в таком недостаточном супружестве, и наконец попросил помочь ему тем, чем некогда Шиц помог Лихаеву. В заключение он сказал:

— Известность этого происшествия и неожиданную с вами встречу в затруднительных моих обстоятельствах я почитаю содействием и даже явным указанием самой судьбы.

Шиц нахмурился.

— И этой помощи вы от меня требуете?

— Не требую, а прошу.

— Немного разницы! Послушайте, молодой человек. Если вы так опрометчиво усматриваете содействие и указание судьбы в такой неожиданной встрече, то почему же вы не видите того самого в разговоре, которым я вам так наскучил за несколько минут? Не предвидя вашего странно-го и неприятного требования, я наговорил очень много для вас скучного или непонятного, но такого, что я сам живо чувствую, в чем душевно убежден. Я пояснил мою длинную речь, сказавши прямо, что человек на каждом шагу и в каждую минуту встречает искушения, от которых не хочет остерегаться, которых не хочет даже видеть. Почему вы знаете, что само провидение не внушило мне этих слов для предостережения вашего? И то, в чем вы видите его содействие, не есть ли испытание, которому оно вас подвергает?

— О, насчет испытания, для меня гораздо явственнее то, которому я уже подвергнут моими обстоятельствами. Неужели в беде не должно искать помощи?

— Помощи, какой? Я, как нарочно, упомянул вам о непозволительных средствах...

— Вы опять сбиваетесь на предмет, по-видимому, очень вами любимый. Не уклоняйтесь от моего предмета. Скажите мне прямо и определительно, почему вы желаемое средство почитаете преступным, вредным, непозволительным, не знаю еще каким?

— Мне кажется, что в этом можно мне поверить на слово без всяких пояснений, потому что я *один знаю*, в чем состоит это средство и до чего оно может довести при неосторожном употреблении.

— Пойдите, я вас поймал! При неосторожном употреблении, говорите вы? Я согласен с вами! Но ваша тайна не может быть употреблена во зло. Все, что я могу с нею сделать, будет то, что я, дождавшись от дяди моих трех тысяч, рискну их в карты, и возьму столько, сколько нужно для обеспечения себя на первые и самые тягостные годы неопытного супружества, во ожидании будущих благ. Этим я сам не обогащусь и никого не разорю. А без этой помощи — рассчитайте сами, каким искушениям, каким опасностям я подвергаюсь. Долг, честь, совесть, — все велит мне жениться! Это дело решенное. С бедностью я должен буду бороться, — но как? У меня почти ничего нет в виду, кроме службы. Я принужден буду переменить мою благородную должность и искать другой, где искушения и злоупотребления будут мне представляться каждую минуту. Могу ли я за себя ручаться? Не могу ли я сделаться бесчестным человеком, нарушителем своей присяги, имея только одно оправдание: нужду, нужду, вопиющую нужду? Но гражданские законы не принимают такого оправдания. Я могу быть осужден, наказан, и тогда — какая сила может меня спасти? Вы имеете средство предохранить меня от этих бед. Ежели не хотите, то откажите прямо, без философических рассуждений.

Шиц громко захохотал.

— Отказать! О, если бы я мог, не только отказал бы вам наотрез, но и попросил бы не знать меня более!.. В том-то и беда, что я не имею права отказать, что я должен вас удовлетворить, если вы сами не откажетесь. А этого благоразумия с вашей стороны я готов испрашивать на коленях у

ног ваших, готов заклинать вас всем, что свято, памятью вашего родителя...

— О, если так, — сказал Гацфельд, радостно улыбаясь, — то напрасен будет ваш труд! Я не так легко отказываюсь от счастья!

— Счастье!.. Гм! хорошо! приходите завтра!

— Почему же не сегодня?

— Завтра, — иначе нельзя!

— Эге! вы тем временем уедете!

— Безумец! ведь я уже сказал, что обязан все открыть, когда действительно потребуешь!... Прощайте. Еще одно: никому ни слова, ни даже намека! иначе тайна потеряет свою силу. Ступайте. Вам остается двадцать четыре часа на размышление. Мой совет: прибегните к тому, кто сам повелел просит у себя помощи в искушениях, — яснее, помолитесь Богу, попросите у Всевышнего вразумления...

— Хорошо! До завтра!

Как ни обрадовался Густав успеху своего предприятия, однако последние слова Шица заставили его призадуматься. «Он не имеет права отказать тому, кто действительно требует открытия тайны! Тайна потеряет свою силу, если кому-нибудь сделается известным, что она открыта! Что это значит? Неужели без шуток тут есть бесовщина? Не потребует ли завтра Шиц записи на душу, по обыкновенной форме сказок, баллад и легенд? Слуга покорный!.. Да быть не может! Кто этому вздору поверит в наш просвещенный век? Просто тут искусный математический расчет, а все эти предостережения суть не иное что, как шарлатанство, средство придать большую важность этому делу. Но почему же он не отказал, по крайней мере, не отложил на некоторое время, не затруднял просящего отсрочками и замедлениями, как обыкновенно делается? А! это мы узнаем завтра, когда Шиц

объявит, какую долю из выигрыша он назначает себе за труд».

Гацфельд явился в назначенное время. Шиц встретил его в передней. Казалось, он был немного пьян. Они прошли в заднюю комнату, и там на столе был самовар, чайный прибор и большая бутылка рома.

— Садитесь, — сказал Шиц. — Прежде всего — выпьем по стакану доброго пунша. Рекомендую! это настоящий арак де-Гоа.

— Почтеннейший Иван Адамович, я пришел к вам не для попойки.

— Это будет, будет! Не беспокойтесь! А теперь выпейте!... Ага! любезный Густав Федорович! неужели вы забыли, что, готовясь на важное дело, надобно прежде всего подкрепить физические силы, набраться храбрости и духа?

— В этом у меня нет недостатка.

— Верю, очень верю! Вы храбры в сражениях, в опасностях, а теперь!... Пейте, не бойтесь!

— Разве будут какие-нибудь заклинания? — шутливо спросил Гацфельд.

— Нет... пожалуй, я поставлю вас среди комнаты, очерчу мелом и начну окуривать: только эти фарсы вовсе не нужны. Вы преспокойно останетесь на этом стуле!... Однако, приступим к делу. Сколько вам от роду лет? Не нужно рассказывать в подробности, а только, более или менее двадцати шести?

— Более.

— И менее тридцати девяти?

— Гм! надеюсь!

— Почему я знаю! Бывают физиономии моложавые... А впрочем — виноват, я должен помнить ваше рождение... Итак, между двадцати шести и тридцати девяти, то есть третье тринадцатилетие... Любезнейший Густав Федорович, вы можете выиграть только три карты!

— Только три? почему же Лихаев выиграл четыре?

— Лихаев? Да. Ему было двадцать три года. А если бы он был отрок двенадцати лет — то выиграл бы и все пять карт. Более нельзя!

— Стало, по карте на тринадцатилетие, и только до шестидесятипятилетнего возраста?

— Вы угадали. На шестьдесят шестом году можно повторить, то есть выиграть столько же раз на те же самые карты. Это... вы можете помнить на всякий случай... Далее — в котором месяце вы родились?

— В феврале.

— Это, по нашему счету, двенадцатый месяц. Кстати, не в високосный ли год?

— Я родился в 792.

— Високос! О, это важное обстоятельство! Не ошибаетесь ли вы?

— Будьте спокойны.

— В таком случае, февраль считается тринадцатым месяцем и первая карта, которая вам выиграет, то есть, которую вы должны ставить — это король. Помните хорошенько — король!..

Заметно было, что Шиц пьян.

— Вы шутите со мною, Иван Адамович, — сказал Гацфельд недоверчиво.

— О, *utinam*!.. Вы знаете по-латыни?

— Нет! — сердито отвечал Густав.

— Жаль! это прекрасный язык! *Utinam* значит «когда бы», «если бы»!.. Из этого вы можете заключить, что я совсем не шучу!.. Еще по стаканчику!

— Довольно, довольно! вы хотите меня напоить, и... может быть, одурачить!

— Молодой человек! — строго сказал Шиц. — Дело идет не о дурачестве, а...

Он не договорил и с значительным видом кивнул головою; Гацфельд невольно смутился.

— Продолжаем! — сказал Шиц. — Дело начато!.. Или вы хотите оставить?..

— Нет-нет, продолжайте.

— Хорошо. Которого числа вы родились?

— Седьмого.

— Стало, вторая карта будет десятка. Помните же: король, десятка...

— Это по какому расчету?

Шиц вскочил со стула.

— Что? — крикнул он. — Мало того, чтобы выиграть? надобно еще знать, почему выигрывается? Недостаточно того, что дают пищу голодному — скажи, как она приготовлена?.. Безумец!.. И то уже довольно греха!

— Я не знал, что тут есть грех, и спросил из любопытства.

— Из любопытства? Безделица! это, по-вашему — невинное желание, не правда ли?.. пожалуй еще — это источник всех познаний, украшающих разум!.. Прекрасно!.. Ни слова более об этом!..

При всей своей отважности, Гацфельд не возражал ничего.

— Ну, теперь последняя карта! — сказал Шиц. — Сложите руки, пальцы в пальцы... Хорошо... Дайте левую руку...

Он внимательно рассматривал его ладонь и бормотал:

— Тринадцать да десять — двадцать три! да здесь одиннадцать — тридцать четыре... Третья карта должна быть восьмерка. Король, десятка, восьмерка — по порядку непременно. Это еще не все. Вы можете ставить по одной карте в талию, должны сами снимать; можете поставить все карты в один день, или в разное время, чрез несколько дней, недель и даже годов, но только до тридцатидевятилетнего возраста. Вы не должны никому объявлять об этом, — ни отцу, ни матери, ни жене, ни детям, ни другу, ни даже... ну, словом, никому! Иначе все карты будут убиты. Каждый раз, снимая, вы должны сказать про себя: «Привидение, напугавшее Карла Шестого, вызываю тебя». Запишите эти слова. Можете их говорить на каком хотите наречии, — по-русски, по-французски, по-китайски, по-халдейски — все равно; лишь бы только слова были верно переведены. Чтобы вы не забыли — потому что записку можете потерять — вспомните то, что предание говорит о Карле Шестом, короле французском, который во время охоты был испуган в Манском лесу привидением. После этого происшествия он повредился в рассудке, и карты были введены в употребление для его забавы. Я говорю «введены в употребление», потому что

они были выдуманы гораздо прежде. Теперь последнее... Сидите смирно!

Шиц встал, взял Гацфельда обеими руками за голову и над самым теменем прошептал ему что-то.

— Без этого, — сказал он, — весь секрет ничего не значит. Теперь я вас проэкзаменую.

Гацфельд должен был несколько раз повторить все сказанное ему. Шиц залпом допил свой пунш.

— Поздравляю, Густав Федорович! — сказал он, стукнув о стол пустым стаканом. — Все направлено; желаемое средство в ваших руках. Пользуйтесь им. Мне остается пожелать вам не огромных выгод, не счастливых последствий, а сколько можно менее вреда и греха. И то и другое тесно сопряжено с этим делом. Вы идете наперекор судьбам Божьим; вы как будто испытываете провидение; подвергнувшись заслуженному наказанию, вы стараетесь избегнуть его средством непозволительным, противным совести и законам Божиим и гражданским, средством, основанным на чародействе.

— О! на чародействе!

— А на чем же? Ведь вы видели сами, что тут не химические процессы, не механические или динамические законы, не алгебраические выкладки... Вот — продолжал он, вынимая из бумажника небольшой пергамент, исписанный по-еврейски, — это список тех особ, которым я сообщил такую же тайну. Всего одиннадцать человек в тридцать лет. Из них только двое остались целы и невредимы, и то те, которым я сам открыл секрет, без просьбы их. Один известный вам Лихаев; другой молодой француз, намеревавшийся продать себя в конскрипты для того, чтобы выкупить последнее имение своей старой благотельницы, которое должно было быть продано за долг в шесть тысяч франков. Этого я сам свел в Пале-Руайяль, дал ему шестьдесят луидоров, заставил выиграть около десяти тысяч франков и взял с него честное слово никогда не играть в карты; он до сих пор свято хранит обещание. Из прочих девятерых трое лишили себя жизни благодаря этому открытию; остальные шестеро — сделались отъявленными бездельниками, по той

же причине, и если уже не наказаны, то непременно подвергнутся строгости гражданских законов. Вы — двенадцатый. Какая участь вас ожидает — мне не известно. Но вы предуведомлены. Рассудите сами, не лучше ли вам отказаться от употребления узнанного средства.

— Затем же вы мне не отказали? — сердито спросил Гацфельд.

— Опять-таки вам говорю, что не имел на то права. Изобретатель этого дьявольского средства не удовольствовался тем, что погубил себя, он захотел, он должен был сделаться орудием гибели других. Все, посвященные в таинство этой ужасной науки, обязываются страшною клятвою научать этому секрету тех, которые непременно будут того требовать. Меня увлекло пагубное любопытство; я узнал — и вот, — продолжал он, постукивая пальцами по бутылке с ромом, — к этим излишествам я непривычен; а сегодня нарочно старался произвести в себе искусственную горячку, чтобы набраться духа и удовлетворить безумному, губительному требованию сына моего почтенного друга и благодетеля. Теперь прощайте; знакомство наше кончилось. Вы сами не захотите меня знать! Но, во всяком случае, помните, что, если у вас есть вернейшее средство выиграть в карты, то есть также и другое, более полезное в случае беды, в которую может вас вовлечь тот же выигрыш. Хотите знать это средство?

— Хочу.

— Это средство — молитва раскаяния.

Гацфельд не сказал ни слова.

«Нелегкая побрала бы всех этих пошлых моралистов, которые, как попугаи, всегда говорят то, что однажды затвердили наизусть. Чего он мне не предсказал! каких бед не насулил! Человек зарезан — кто в том виноват? Верно, не нож! А по философии господина Шица надлежало бы по-

сле такого случая уничтожить все ножи!.. Я могу обогатиться и это будет для меня соблазн, искушение!... Куда как!.. Да из чего обогатиться? Ни три карты могу я взять только сетелево. Чтобы выиграть миллион, надобно поставить полтора ста тысяч! Безделица! Где они у меня?..»

Так рассуждал Гацфельд на возвратном пути. Он проехал прямо к пану Гулевичу, где ожидало его письмо от Анели, которая, вместе с теткою, была на Волыни, в городе вообще ей незнакомом. Она поехала туда по настоянию самого Гацфельда, который не хотел, чтобы позор бедной девушки сделался известным в дивизионном штабе. Анеля уведомила его о благополучном ее разрешении дочерью, которая жила только сутки. «Она взглянула на сей мир, — писала Анеля, — и, увидевши, что ей здесь нечего делать, умолила Бога, чтобы он взял ее обратно к себе. Покорствую воле Всевышнего!» Такое известие было бы истинным несчастьем для супруга, но Гацфельд принужден был ему радоваться. Вскоре возвратилась Анеля. На лице ее видны были следы изнеможения. В глазах супруга она была бы еще милее в этом положении, но Густав заметил только, что красота ее поувяла. Впрочем, ласки доброй девушки опять возбуждали в нем нежные чувства. Он сам завел речь о замедлении их брака, и сказал, что теперь имеет важные причины ожидать скорого исполнения их желания.

— Делай, что хочешь, мой милый Густав! — отвечала Анеля. — Я не жалуюсь и не смею жаловаться на мою судьбу, доколе не имею причин сомневаться в твоей любви.

— И самые отлагательства вашего союза должны тебя более и более убеждать в моих чувствах. Я не хочу, чтобы ты делила со мною нужду, хотя знаю, что ты и на это согласна.

— О, мало же ты знаешь, как я тебя люблю! Или, может быть, ты худо знаешь полек и судишь о них по своим соотечественницам или знакомым тебе парижанкам... Я сказала прежде, говорю и теперь: если ты не можешь или не хочешь взять меня за себя — я согласна быть даже твоею служанкою. И поверь, что я с радостью приму такое унижение, если только оно тебе будет угодно!.. Друг мой! будь ты сча-

стлив и доволен — я этим буду счастлива. Хоть не люби меня, но позволь только мне любить тебя беспрепятственно и доказывать мою любовь всем, что в моих силах! Приказывай, требуй — и ежели я в состоянии, все будет исполнено с таким душевным удовольствием, с которым не могут сравниться никакие прельщения богатства и знатности.

Кто устоял бы против таких доказательств любви? Гацфельд поклялся в душе, что он употребит все средства сделать Анелю счастливою, *вознаградить ее* за такую нежную, бескорыстную привязанность!...

Несмотря на такое расположение Гацфельда к невесте, она не могла похвалиться его обращением с нею. Он часто задумывался. Бедная девушка готова была подозревать его в холодности, но он сам очень убедительно уверял, что занят некоторыми важными делами и расчетами, которые все имеют целью скорейшее исполнение их желаний. Так и было в самом деле. Гацфельд рассчитывал, где и сколько может он выиграть. Если рискнуть свой годовой доход, то есть все три тысячи, как только получит их от дяди, то можно взять двадцать одну тысячу. Но для этого надобно непременно поехать или в Киев на контракты, или куда-нибудь на ярмарку, где бывает большая игра. На проезд нужно будет тысячу рублей: на игру, останется только две. Мало! Разве занять у кого из знакомых? Это неверно. Или взять приданое Анели?.. и прежде свадьбы? О, это было бы бесчестно!.. Не отложить ли своего намерения до того времени, когда он будет женат? Хорошо бы! Да жениться-то с чем?

Гацфельд почти сознавался, что тайна Шица была для него искушением, то есть счастьем, которое его дразнило, по русской пословице: по усам текло, в рот не попадало! «О, если бы я был богат! — говорил он. — Как бы я был счастлив!»

Все сии размышления довели его до того, что он в проделке Шица начал подозревать обман, шарлатанство, мистификацию; пример Лихаева не доказывает ничего удовлетворительно: могло быть счастье, удача, может быть, основанная на гадании. Сколько раз сбывалось то, что ворожея предсказывала по картам? Не более, как случай!..

В довершение таких истязаний, пан Гулевич стал часто напоминать, что пора исполнить обещанное, что о племяннице его уже начинают поговаривать. Да и военные знакомые намекали Гацфельду, что, по-видимому, его женитьба ограничится одним сватовством и, не зная всей важности его обязательства, замечали, что это было бы неблагородно. Тут же, как нарочно, его мать в каждом письме настоятельно требовала, чтобы он приехал в отпуск и посмотрел бы прибранных ею невест. Авось-либо, де, которая понравится, и он утешит ее на старости. Это дело было, по-настоящему, важнее всего, и Густаву следовало немедленно во всем открыться матери. Но он не решался, боясь ее огорчить и не рассчитывая, что, в избежание этого огорчения, ему должно было отказаться от Анели; иначе оно придет рано или поздно. Густав клял свою судьбу...

Получен приказ о производстве Гацфельда в подполковники с переводом в Москву. Это неожиданное обстоятельство как будто облегчило его затруднения. Это была как бы отсрочка неумолимой гонительницы-судьбы. Но Густав старался уверить и себя и Анелю, что это приближает развязку его дела. Как? чем? Он пояснял по-своему, очевидно наобум; но добрая девушка ему верила; один пан Гулевич морщился.

Мать прислала ему тысячу рублей «на большие эпопеты», как она писала. С этими деньгами он скоро собрался в путь и начал торопиться отъездом, как будто от чумы бежал.

— А женитьба твоя? — спросил на прощанье Лихаев.

— Отсрочена поневоле. Я не виноват!

— Вот то-то, брат, — сказал строгий полковник. — В военном быту более, нежели в каждом другом, надобно быть осторожным насчет обязательств, особливо таких важных, какова женитьба! Легко сделаться бесчестным человеком.

Прощанье с невестой, слезы, уверения, клятвы, все было в обыкновенном порядке. Как гора свалилась с плеч Гацфельда, когда зазвенел почтовый колокольчик. Чему он был рад? Какой беды избавился? Он этого сам не знал.

С первой станции он написал к Анеле предлинное и пренежное письмо; из Москвы также; потом еще со следую-

щею почтою, и наконец — отложил переписку на время.

В древней столице был он в первый раз от роду, но нашел в ней много знакомых. Все это были походные товарищи и друзья, которые вышли в отставку, переженились и зажили в белокаменной Москве в полной неге и довольстве. Радушно приглашали они к себе Гацфельда, который едва успевал их посещать. Как они славно живут в красивых, вновь выстроенных домах! Что за прислуга! что за роскошный стол!.. Не то, что убогий домик на фольварке, где жил пан Гулевич. Густав живо почувствовал эту разницу и свою бедность.

Кстати осведомился он о картежной игре. «Ага! и ты пускаешься. Ну, в добрый час, если умеешь и счастье везет! Здесь золотое дно. Можешь выиграть сотню-другую тысяч!» Это было слово в слово повторение давнишнего желания Гацфельда.

В числе знакомых он нашел князя Лиодорова, который во время кампании был адъютантом корпусного командира и нередко стоял на одной квартире с Гацфельдом. Лиодоров, по производстве в полковники, перешел к статским делам, получил звание камергера, должность в Москве, и женился на дочери князя Рамирского, единственной наследнице десяти или двенадцати тысяч душ. Кроме того, он сам был богат.

— Ай! страшно! — сказал Густав, узнавши о таком огромном состоянии. — Да куда тебе такая пропасть?

— Найдется, брат, куда девать! — отвечал Лиодоров. — Будь у человека миллион годового дохода — верно, у него наберется на полтора миллиона нужд!

Как не позавидовать такому богатству, особенно когда своих не полтора миллиона, а разве полтора десятка нужд едва могут быть удовлетворены. Это испытывал на себе Гацфельд, проживая в столице. Все эти посещения знакомых, публичных увеселений, английского клуба, куда его вскорости вписали в члены, — все это требовало лишних издержек, экипажа, щеголеватого гардероба, а главное, карманных денег, которые употреблялись ежедневно, как лекарство, чрез несколько часов по ассигнации. Трудно было

справляться, а отстать не хотелось, да и нельзя: он в таком чине и занимает довольно важную должность...

Среди таких забот, мало было времени и охоты писать к Анеле. Нечасто извещал ее о себе Густав; но письма его были нежны и заключали в себе жалобы на препятствия в исполнении их желания. Анеля писала так же редко: она не хогела беспрестанным напоминанием о себе напоминать и о обязанности, лежащей на Гацфельде. Напротив! В одном из ее писем было сказано следующее: «Я вижу, милый друг, как беспокоит тебя замедление нашей свадьбы. Если эта забота порождается в тебе собственным желанием (в чем я и не сомневаюсь), то я слишком счастлива, и охотно вооружаюсь терпением; если же ты беспокоишься на мой счет... о, милый Густав, оставь это, не торопись, не предавайся горестным мыслям, дожидайся часа воли Божией, и знай, что с моей стороны никогда не будет ни понуждения, ни напоминания. Конечно, мне хотелось бы успокоить моих родственников и благодетелей; но выход в замужество состоит совершенно в моей воле, и, пользуясь ею, я даю тебе неограниченный срок. Я уже принадлежу тебе, другому принадлежать не могу и не хочу, и, как супруга, как раба твоя, обязана заботиться о твоём успокоении» и проч. и проч.

— Добрая, благородная девушка! — говорил Густав, перечитывал эти строки, очень и очень для него утешительные. На полчаса предавался он восторгам любви и признательности; потом уезжал в клуб или к знакомым и там забывал Анелю и своя обязанности. Он даже забывал о таинственной проделке с Шицем и часто готов был почитать все это за вздор. Но один случай разрешил его недоумение.

Богатый князь Рамирский имел обыкновение, перешедшее к нему от деда и отца, в один из летних праздников давать великолепный бал в селе Рамирском, отстоящем от Мо-

сквы в восьми или девяти верстах. Это празднество в старые годы чередовалось и соперничало с богатыми пирами помещиков Кускова, Останкина, Архангельского и других великолепных загородных домов, этих чудес московских окрестностей. На ту пору — бал князя Рамирского был единственный в таком роде, и привлекал большое стечение жителей столицы, кроме приглашенных. Охотники до гуляний приезжали и пешком приходили в село Рамирское с самого утра. Во время обедни, вся площадь около церкви была полна народа, которому уже не было места в самом храме. Ворота в сад отпирались в самый полдень, и приглашенные на бал, съезжавшиеся к вечеру, вынуждены были оставаться в доме, ибо гулянье по саду и по рощам делалось неудобным по причине толпы.

Князь Лиодоров пригласил старинного товарища Гацфельда приехать рано поутру для того, чтобы иметь время погулять и осмотреть все достопримечательное.

— И стоит того! — сказал он. — То, что мы видели в этом роде в Германии и во Франции — едва ли может сравниться с потешным дворцом русского барина, как называет это поместье батюшка.

В шесть часов выехал Густав из города. Около Москвы чистое поле, деревня, сельское местоположение начинается сейчас за заставою. Как приятно в летнюю пору начать день на свежем воздухе! Как весело быть за городом, даже за Москвою, которая совсем не душна, а в некоторых кварталах совершенно похожа на деревню!.. Гацфельд покуривает трубку, дрожки мчатся по извилистой дороге между нивами.

— Куда это идет так много простого народа в праздничных платьях?

— В село Рамирское к обедне. А! вот и село Рамирское.

Старинная пятиглавая церковь; огромный дом деревянный, настоящий подмосковный; сад — в несколько десятин; кругом рощи, луга, поля — вид прелестный!

Дрожки подъехали к дому.

— Встал ли князь? — спросил Гацфельд у служителя в богатой ливрее.

— Вам к князю? пожалуйста сюда, направо. Вон, видна крыша, там, у оранжереи, во флигеле...

— Как во флигеле?

— Их сиятельство там изволят жить!

— Странно! ступай к оранжереям!

Князь Лиодоров прохаживался по двору.

— Добро пожаловать! — сказал он приехавшему. — Пойдем к нам. У нас по-деревенски, все уже встали.

И он привел Гацфельда в довольно низкие комнаты, с небольшими окнами и очень просто меблированные.

— Вот наше жилище, — сказал он.

— А большой дом? неужели стоит пустой?

— Куда пустой! Это не дом, а музей. Там столько богатого убранства и разных редкостей, что ты удивишься. Одной мебели по меньшей мере на триста тысяч, кроме картин, обоев, стенной живописи и позолоты. Батюшка называет этот огромный дом блестящею игрушкою напоказ взрослым детям. Он говорит, что великолепие надоело ему в городе, потому и переселился сюда. Здесь воздух самый деревенский и прелестный вид.

— Вид на поле, а не в сад?

— Что сад! батюшка называет его великолепною тюрьмою.

— С позволения твоего... чудак же его сиятельство!

— То ли еще ты услышишь! Он сам будет тебе и показывать все редкости здешнего дома, и о каждом предмете у него свое суждение. Слушай терпеливо, в особенности поговорку «суета сует», которая употребится не один десяток раз.

— Да этак он тоску наведет!

— Нельзя его в том винить! В 1812 году, на крыльце этого богатого дома, его единственный сын, тяжело раненый в Бородинском сражении, окончил жизнь.... Между тем, французы вступили в Москву. Такие воспоминания и на рай земной накинута черная тень!..

— Как же скончался на крыльце?

— Да! его не успели внести в дом... Однако, благовестят к обеду; извини, брат. Я оденусь.

Через полчаса князь Лиодоров явился в шитом камергерском мундире.

— Это здесь форма! — сказал он. — Пойдем!

Старый князь был в мундире и в ленте; молодая княгиня имела на плече бриллиантовый вензель. Служители были в богатейших ливреях. Таким парадом все поехали в церковь. Народ кланялся со всех сторон, княжеская фамилия отвечала ласковыми поклонами. Сколько знатности, сколько богатства! Весело быть даже *вместе* с такими людьми; каково же было бы на их *месте*! Так размышлял Густав Гацфельд.

По возвращении от обедни, подали завтрак: масло, творог, сливки, отварные грибы.... Вот на! Гацфельд ожидал лимбургского сыра, паштета, котлет с трюфлями...

— Это по-деревенски! — сказал князь Рамирский. — И сытно и здорово!

Гацфельду показалось, что он видит мальчика, который с товарищами играет в солдаты, и в роли полковника или капитана с пресерьезным видом отдает приказания. Деревенский завтрак князя в глазах его был не более, как игрушка или фарс.

Лиодоров вызвался показать своему приятелю сад.

— Ступайте! — сказал князь Рамирский. — А я пойду гулять в поле и в первом часу возвращусь. Тогда сам покажу вам дом со всеми редкостями. Полюбуетесь на эту суету сует.

Что за сад! настоящий эдем! как прелестен этот огромный луг перед домом, как большой ковер из зеленого бархата! окружающая его извилистая дорожка вся обсажена цветами; какая прелестная пестрота! тут целое царство флоры. А эти разнообразные кусты и деревья — с каким искусством они подобраны! как мило расположены неправильные округлости их пушистых вершин!... Но всего сада не исходишь и в сутки.

Погуляв около часа, Гацфельд, полный изумления после всего им виденного, возвратился вместе с Лиодоровым домой, где старый князь ожидал уж гостя, которому сам покажет дом. Между тем, приехал зять князя Рамирского, ге-

нерал-лейтенант граф Лейтмериц. Этот также будет осматривать редкости княжеского дома, которого роскошное убранство было видно сквозь зеркальные стекла бронзовых окончин. Сам князь отпер дом позолоченным ключом.

Вот великолепные палаты! Вот роскошь протекших веков, ныне замененная простотою, которая обходится вдвое дороже! Узорчатые паркеты уподобляются красивым *партерам* версальских садов. Что за фигуры! как будто хитро-сплетенные вензеля. Теперь таких и не придумают. На стенах штоф и позолота. Софы, кресла — на которых, может быть, никто не садился — также сделаны из золоченого дерева и обиты лионским штофом с букетами и гирляндами, так что на мебели видишь такой же богатый цветник, как и в саду. А старинные хрустальные люстры! Это не *панье-маше*, скудное, непрочное и очень дорогое по фасону, а не по мастерству. В одной из гостиных каймы обоев, шириною в пол-аршина, вышиты яркими шелками. Каждый аршин этой каймы стоил свое время шестьсот ливров!.. И вот, на мраморном камине, часы старинной работы из вызолоченного серебра; на циферблате выставлено: «Leroy, 1757». Они были сделаны по приказанию графа Эгмонта и подарены им тестю его, герцогу Ришелье. Какая прекрасная работа, с алмазами, жемчугами, кораллами!

Вот китайская комната. В ней нет вещицы, которая не была бы привезена из небесной империи. Семь тысяч верст проехала каждая безделица! И что стоили эти огромные фарфоровые вазы, непригодные ни на какое употребление, эти искусно лакированные и уродливо разрисованные стены покоя, эта мебель, обитая шелковою тканью ярких цветов, красотою едва ли уступающих полюсам небесной радуги!..

В другой комнате также старинные часы с курантами. Под стеклом видны серебряные колокольчики и молоточки. Часы завели. Они заиграли прелестное произведение старинного Корелли, известное до сих пор под названием *Испанских шалостей* (*Les folies spagnoles*), прелестная мелодия, которая пережила своего композитора и переживет произведения многих новейших. Вот и вариации. Но этого не прослушаешь в полчаса. Пошли далее.

Здесь был парадный кабинет покойного князя, в котором кабинете едва ли написаны им десять строк. Длинная комната, разделенная на три части колоннами. Она идет во всю ширину здания, так что из сада можно видеть ее насквозь, от одного окна до противоположного. Что за роскошь в отделке этого кабинета! Вот небольшая библиотека, составленная из таких редких старинных книг, что никто не отважится их читать. Вот бюро из черного дерева с серебряными и золотыми насечками, перемешанными перламутровыми фигурами и камеями высокой цены. Жаль, что ключ потерян, а на сделание другого не вызывается ни один слесарь. Внутри все ящички отделаны так хитро, с таким множеством секретов, что рассмотрение бюро стоит разгадания двух дюжин настоящих сфинксовых загадок. Что же лежит в этом бюро? Ничего не лежит и никогда ничего не лежало! Оно стоит здесь для редкости, и было заплачено две тысячи червонцев.

Осмотрев несколько комнат, в которых князь Рамирский останавливался почти над каждою вещью, объясняя ее, приговаривая при каждом случае: «Суета сует!», прошли в верхний этаж, где, за исключением танцевального зала и внутренних покоев, все комнаты были завешаны картинами и заставлены вазами, статуями и бюстами. Все это произведения знаменитейших, известных и более искусных, неизвестных древних художников. Какое богатство и какая пестрота! Сколько времени нужно на то, чтобы все это осмотреть со вниманием, которого неоспоримо достойна каждая вещь! Поодиночке они доставили бы несколько часов самого приятного занятия, а тут... все так перемешано, и так некстати.

— Пора обедать! — сказал наконец граф Лейтмериц.

— Пора, пора! — отвечал князь. — Сойдемте здесь по маленькой лестнице... Да, постойте; вот еще достопамятность! Знаете ли вы, что это изображает?

В парадной спальне стоял огромный туалет. По обеим сторонам овального зеркала, окруженного гирляндами, два летящих амура держат венок таким образом, что он приходился прямо над годовою особою, сидящей пред зеркалом.

Выдумка весьма лестная для красоты убирающейся!

— Это, — сказал князь, — верная копия из золоченой бронзы знаменитого туалета графини дю Барри, который был сделан из чистого золота.

— Ого! — сказал, смеясь, граф Лейтмериц. — Как ты добрался до этого памятника королевской щедрости?

— Покойный батюшка достал эту вещь во время французской революции. Кем, для кого и для чего была сделана эта копия — неизвестно! Покупку ее предложил один странный, непонятный человек, который жив до сих пор, бывает иногда в Москве и даже у меня: старик очень умный, образованный, с которым приятно побеседовать. Только никто не знает достоверно его происхождения и образа жизни. Он разъезжает по целой Европе, неизвестно по каким делам, и охотно исполняет различные препоручения в разных странах, не требуя за то никакой платы. Он не чиновник, не купец, не банкир, не картежный игрок, а так — путешественник из доброй воли...

— Как Странствующий Жид! — сказал граф.

— Именно! Он-таки жид, только крещеный. Зовут его Иван Адамович Шиц.

— Шиц! — воскликнул Гацфельд. Но в то же время граф Лейтмериц с изумлением произнес это имя и восклицание Густава не было замечено.

— Да, Шиц! — сказал князь. — Разве ты его знаешь?

— И очень. Шиц! графиня дю Барри! да знаешь ли ты, что тут есть ужасная тайна?

— Вот еще! Туалет стоит у меня около тридцати лет без тайн и ужасов!

— Я тебе говорю, что есть тайна; и если хочешь знать, то я не ошибся в моей догадке, и этого Шица почитают действительно за Странствующего Жида. Я имею на то доказательства.

— Что, что такое? — спросили невольным образом все.

— Я вам расскажу за обедом. Мне есть хочется, а не говорить.

Вот что рассказал граф Лейтмериц.

В последние кампании, этот Шиц весьма часто являлся в главных квартирах, и, как видно, имел доступ к главнокомандующим всех союзных держав. Что он был — чиновник, маркитант, может быть, лазутчик? Все это предполагали и никто не знал в точности. А люди достоверные гораздо справедливее говорили, что этот Шиц доставлял подробнейшие статистические и экономические сведения о странах, которые готовились занять. Это и немудрено; Европа известна Шицу, как свое поместье. В главной квартире и я с ним познакомился.

Во Франции квартировал я в одном шампаньском местечке, помнится, в Фебильйо, у старика-аббата Лемуана, человека словоохотного, большого агронома и пчеловода, который подружился со мною в первый день моего квартирования, так что на сон грядущий потребовал от меня братского лобзания. «*Mon cher comte! mon bon general!*»* — этими словами приветствовал он меня за первым ужином. Я стоял у него уже два дня, как приехал к нам Шиц, не помню, за каким делом и к кому, только не ко мне. Но, узнав, что я тут, он меня навестил. Надобно было видеть моего аббата, когда Шиц вошел в комнату и я приветливо назвал его по имени! Лемуан вглядывался в него, надел очки, отступил шага два назад и с заметным страхом готовился уйти из комнаты, как Шиц его узнал, взял дружески за руку и назвал старинным знакомым. Аббат насилу мог говорить и дрожал всеми членами. Шиц шутил и был веселее обыкновенного. Наконец он уехал, и бледный аббат перекрестился, как будто освобождаясь от болезни.

— Что с вами? — спросил я.

— Ах, граф! ах, любезный граф! как вы знаете этого... этого Шица?

Я ему рассказал.

— Скажите, милый граф, католик ли вы?

Я усмехнулся и сказал, что я христианин.

— Если так, то убегайте этого... этого Шица.

* Мой дорогой граф! Мой добрый генерал! (*фр.*).

— Ба! почему бы так?

— Я вам открою тайну. Этот Шиц не другой кто, как Странствующий Жид.

— Что?.. Да, правда! он крещеный жид, и странствует...

— Не то, не то! Это Неумирающий Жид, о котором известно по преданиям, что он восемнадцать столетий скитается по свету.

Я засмеялся и старался уверить аббата, что предание о Неумирающем Жиде есть не иное что, как олицетворение целого иудейского народа, рассеянного по лицу земли без отечества и скитающегося, подобно Каину.

— Я сам был такого мнения! — отвечал аббат. — Точно, я всегда это говорил. Но Шиц доказал мне противное. Сколько, вы думаете, ему лет?

— Лет пятьдесят!

— Я знаю достоверно, что он по крайней мере мне ровесник, а мне семьдесят два года.

— Что же? И то может быть!

— А с лица он не стареется. Я узнал его назад тому двадцать пять лет, и он был точно такой же, как теперь. Но это еще ничего! А вот обстоятельство, которого я сам был свидетелем и очевидцем. Слушайте и судите сами.

Я думаю, не нужно вам рассказывать, кто такова была графиня дю Барри. Эта женщина прежде, нежели попала в знатные дамы, играла роль самую... незначительную, чтобы не сказать более. Ее называли тогда девица Ланж. Еще в этом звании гуляла она однажды по Тюльерийскому саду, и вдруг молодой человек, с большими черными глазами, с восточною физиономиею, одетый в голубой атласный кафтан и в ранжевый* камзол (это надобно заметить), подошел к прелестнице и, почтительно поклонившись, поцеловал ее руку. Девица Ланж изумилась такому вежливому поступку. Но еще более удивилась, когда незнакомец сказал: «Вспомните обо мне, сударыня, когда вы займете место королевы французской». И это было сказано с видом важным и таинственным. Девица остолбенела и едва могла выгово-

* Оранжевый.

рить: «Кто? я буду на месте королевы?» — «Да, сударыня, вы! и в непродолжительном времени». После сих слов, незнакомец почтительно поклонился и отошел. Бедная Ланж едва верила ушам, но тут же подумала, что молодой человек помешан.

Года три спустя, графиня дю Барри, в версальской придворной церкви, увидела молодого человека в голубом кафтане и ранжевом камзоле, не сводившего с нее глаз. Она вспомнила прошедшее и стала вглядываться в знакомого незнакомца. Он значительно кивнул ей головою, как будто говоря: «Что? Не правду ли я сказал?» — и скрылся. Графиня в тот же день рассказала об этом происшествии королю и многим придворным, и просила начальника полиции, господина Сартина, отыскать незнакомца. Но по вечеру нашла она в своей спальне письмо, неизвестно кем туда занесенное, в котором ее уведомляли, что поиски господина Сартина будут не только тщетны, но и опасны для самой графини дю Барри; что она увидит незнакомца еще раз — перед кончиною своею... Об этом также было рассказано; анекдот сделался известным в Версале и в Париже, и таким образом, в то же время дошел до моего слуха. Впоследствии я об нем позабыл.

В начале революции, я познакомился с Шицем; зачем он был тогда в Париже — я не знаю. Он уезжал и опять приезжал. Чрез несколько лет, во время самых ужасов, судьба довела меня жить, или, лучше сказать, скрываться в квартире Шица. Каждый день был ознаменован тогда чьею-нибудь казнию. Однажды поутру Шиц, к удивлению моему, вынул из чемодана и стал надевать на себя голубой атласный кафтан и ранжевый камзол, покроя уже несколько устаревшего. Я удивился, но Шиц с тяжелым вздохом объявил, что должен сдержать данное слово. Он закутался в огромный плащ и ушел. Не понимая сам причины моего любопытства, я за ним последовал, — и что же? Он пришел на площадь, стал против эшафота... Я остановился поодаль... На эшафот ввели женщину... Шиц раскинул свой плащ и показал голубой кафтан и ранжевый камзол... женщина что-то закричала; но голова ее свалилась в ту же минуту... с

ужасом убежал я оттуда. Несчастная жертва эшафота была графиня дю Барри. Известно, что она сказала палачу: «Остановитесь на минуту!» и что восклицание приписывали ее испугу; но я был очевидцем настоящей причины: она узнала Шица и, верно, ожидала от него помощи. Тогда я вспомнил давно слышанный мною анекдот о таинственном предсказании в явлениях в версальской церкви. Дивный незнакомец был не другой кто, как Шиц, которого я не мог ни о чем расспросить, потому что он в тот же день уехал из Парижа. Что вы об этом думаете, любезный граф?

— Довольно удивительно, — сказал я, — если только во всем справедливо. Но сами же вы говорите, что Шиц являлся девице Ланж молодым человеком. Следовательно, он устарел и не похож на Странствующего Жиду.

— Он, он, — отвечал аббат, — Странствующий, Неумирающий Жид! В этом уверены многие... И вот еще обстоятельство: в самый день рождения первого дофина, сына покойного короля Лудовика XVI (аббат тяжело вздохнул), граф прованский, королевский брат, возвратясь в свои покои, нашел на столе письмо, в котором предсказывали ему, что ни новорожденный, ни долженствующий родиться после — не будут ему помехою в приятии титула короля французского и наваррского. Таинственное письмо сгорело в его руках, как только было им прочитано. Неизвестно, кто его доставил, но видели Шица, бродившего около покоев графа Прованского в то время, когда все были в опочивальне королевы. Шица велели искать, но он скрылся из Парижа. Тогда же прошли о нем слухи, что он Странствующий Жид, а узнал я, что Шиц был замешан в этом происшествии, уже после казни графини дю Барри, и узнал от человека, не имевшего понятия о моем с ним знакомстве. Из этого вы можете заключить, любезный граф, что Шиц есть существо таинственное, если не Странствующий Жид, то по меньшей мере колдун.

Аббат начал креститься... Довольно замечательно то, что после этого рассказа я нигде более не встречал Шица, хотя он продолжал свои странствования и был в Париже. Признаюсь, теперь я сам встречу с этим Шицем почел бы дурным пред-

знаменованием... Не знаю почему, только не шутя боюсь его увидеть.

Внимательнее всех слушал этот рассказ Густав Гацфельд. Он не сказал ни слова о своем знакомстве с Шицем, и даже не вмешивался в последовавший о нем разговор. Только эта слава колдуна и даже Странствующего Жида убеждали Гацфельда в несомненности открытого Шицем картежного секрета. До самого вечера Густав был задумчив...

В саду загремела полковая музыка; близ рощи раздался хор песенников. И сад и окрестности пестрелись от множества гуляющих. Все приглашенные на бал входили прямо в нижний этаж; пожилые усаживались за карточными столами; молодые собирались в галерее под балконом и смотрели на гуляющих; немногие отваживались сойти в сад: бальный костюм воспрещал прогулку! Вольные посетители расхаживали перед домом и направляли лорнеты и зрительные трубки на сидящих дам и увивающихся около них кавалеров.

Закатилось солнце; наступил приятный, тихий вечер; звезды зажигались одна за другою на своде небесном. Сад князя, вероятно, позавидовал величественному куполу: взвилась сигнальная ракета, и в несколько минут тысячи разноцветных огней осветили сад. В верхнем этаже заиграла музыка. Начались танцы. Гацфельд пользовался правами своих лет и любезничал с дамами. Ему было весело. Великолепие, его окружающее и еще не наскучившее своею непрерывностью, блестящая, игривая болтовня бального общества, легкий, разнообразный моцион в вальсах и кадрилих — кто что ни говори, а это очень приятное развлечение.

Но вот еще сигнальная ракета, другая, третья. Музыка замолчала. Все идут на балкон, а гуляющие опрометью бросились на террасу за домом, в противоположную сторону от сада... Зажжен прекрасный фейерверк. Огонь как будто показывает свое усердие в наполнении воли человека, то, подобно водомету, испуская кверху блестящие брызги, то летя к своду небесному яркими звездами, то извиваясь в виде пламенных звезд, то медленно кружась алмазными узорами, — и все это с шумом, треском и смрадом!

В исходе двенадцатого часа, бальное общество собралось в галерее, где за круглыми столами, которые украшены были бронзовыми канделябрами, хрустальными и фарфоровыми вазами, цветами и плодами — уселись прекрасные и непрекрасные, но все без исключения щегольски одетые дамы. Из мужчин, некоторые усердные поклонники Комуса ужинали в ротонде, а другие, поклонники красоты, увивались около дам, насыщаясь их взглядами и обменами легких, почти бессмысленных фраз. Гацфельд был в числе последних, но заходил и в ротонду, где несколько лаковых кусков и бокалов шампанского дополнили самым солидным образом наслаждения этого очаровательного праздника. А между тем, толпа избранных посматривала сквозь стеклянную стену великолепной храмины, видела, как разносятся роскошные яства, и вместо ужина довольствовалась роговою музыкою, которая, скрывшись за цветущими кустами, как невидимый орган, издавала пленительные звуки. Но уже второй час утра: толпа рассеивается. Утомленные танцами, гости поспешно усаживаются в экипажи и, вероятно, с таким же нетерпением желают доехать до своих пенатов, с каким дожидались великолепного праздника. Вежливый князь Лиодоров стоял у подъезда, провожая отъезжающих комплиментами. Гацфельд дождался своих дрожек.

— Что? устал? — сказал князь.

— Мочи нет! Этот бал — настоящая суета сует! Хоть бы завтра побывать на таком же!...

«Вот это жизнь!.. Быть добродетельным, великодушным, способным на великие подвиги — все это дело прекрасное и преполозное; но я уверен, что оно возможно только тогда, когда есть счастье, то есть нет недостатка во всех удобствах и наслаждениях жизни. При них — будь героем,

мудрецом, чем хочешь; без них — и хотел бы, да не можешь!..

Счастливец князь Рамирский! Мне удалось воспользоваться только одним веселым днем из его жизни, днем, каких он может иметь и, верно, имеет триста шестьдесят пять в году! И от этого одного дня мне как-то веселее. Я могу сказать, что я пожил на свете... один день. Будет ли для меня другой такой? Очень вероятно, только на чужой счет. А будет ли у меня в жизни день собственный, от меня самого зависящий, в моей воле состоящий, день, в который я не позавидовал бы никому, а заставил бы других завидовать себе, вот это задача нерешенная. А может быть, я дождусь и смерти, не решив ее.

Говорят: будь счастлив душою, и никому не позавидуешь. Разумеется; но я уверен, что никто не скажет: при богатстве, при довольстве нельзя быть счастливым! Деньги не мешают ни душевному спокойствию, ни блаженству любви, ничему, ни поэтическому, ни романическому, ни философическому... Ах, если бы я был богат! Я бы... Что я бы?.. Да, во-первых, отстроил бы себе загородный дом не хуже великолепных палат князя Рамирского. Это на первый случай заняло бы меня приятным образом года на два, на три, не без пользы себе и другим...

Другим? конечно! Мастеровой, ремесленник, черный работник глядят в глаза богачу, ожидая от него хлеба насущного за угодную ему работу. Да они ли одни! Все ученые, все философы ожидают приказаний или, по крайней мере, предложений богача: он может дать им средства служить за один раз и себе, и ему, и науке, и целому свету. Этого мало. Поэт, романист, драматург, которые себя считают выше прочих смертных, готовы с благодарностью исполнять волю богатого человека. “Сочините поэму во вкусе... таком-то; напишите роман, повесть или замысловатую сказку; подарите нас хорошею комедиею в русских нравах или ужасною драмою — вашу поэму, ваш роман или повесть, вашу комедию или драму позвольте мне купить: я вам заплачу десять, двадцать, тридцать тысяч и более, если понадобится!” — “Да вам на что?” — “Я страстный охотник до произведений этого рода. Мне досадно видеть, как книгопро-

давцы скудно награждают таланты”, и проч. и проч. Сейчас скажут: “Вот благородный, великодушный человек! вот истинный любитель всего изящного! вот меценат! вот то! вот другое!”... и охотно примутся за работу, мною, богачом, за-казанную.

И все это я мог бы делать, если бы то средство, которое я почитал за простой математический расчет и которое, по здравом соображении, оказывается шарлатанством, пустым гаданием — если бы это средство было верно! Однако после рассказанного графом Лейтмерицем оказывается, что Шиц точно необыкновенный человек, и его гадания несомненны. Опасно с ним встретиться, как говорят. Но он, старинный друг покойного батюшки, не сказал мне ни слова о такой опасности. Он много толковал об опасности, о раскаянии... Все это, очевидно, более касается до него, кающегося колдуна, нежели до меня, человека нехитрого, желающего воспользоваться безвредным колдовством. Узнать бы только, верно ли сказанное им средство?.. Попробовать — нельзя!.. Если бы он сам подтвердил!... Да где он, этот дух преисподней, который находится и в моей власти? каким заклинанием его вызвать, Странствующего Жида?... Шиц, Щиц! вызываю тебя! явись предо мною, по-сказочному, как лист перед травой!...»

Так рассуждал Гацфельд, разгуливая по Тверскому бульвару чад вчерашнего празднества в селе Рамирском; когда он домечтался до заклинания, то приподнял глаза и увидел Шица, идущего прямо ему навстречу. Холод пробежал по всем его жилам. Это обстоятельство как-то странно и страшно; однако он ободрился...

— А! Иван Адамович! какими судьбами здесь?

— Здравствуйте, Густав Федорович!

— Давно ли в Москве?

— С месяц.

— А мы вчера об вас говорили... с графом Лейтмерицем. Вы помните его?

— Как же! Я вас видел обоих на даче князя Рамирского.

— И вы там были? Однако, мне хотелось бы с вами объяснить. Граф Лейтмериц рассказывает об вас чудеса.

- Может быть!
- Куда вы теперь шли?
- Прогуливаться.
- Если вы никуда не спешите, то присядьте.
- Пожалуй.
- Правда ли то, что рассказывал об вас граф Лейтмериц, о вашем знакомстве с аббатом Лемуаном?..
- Так что же?
- И о том, что открыл ему этот аббат насчет вашего пребывания в Париже во время революции... и насчет... голубого кафтана и ранжевого жилета, в которых вы являлись графине дю Барри?
- А вам на что это знать? Не собираетесь ли вы писать историю графини дю Барри?
- Мне? мне не худо иметь об этом надлежащее понятие! Ведь и на мою долю досталось кое-что из вашего таинственного знания...
- Ну, пользуйтесь и довольствуйтесь этим, а более не любопытствуйте понапрасну.
- Да, пользуйтесь! Но говорят, что после таких сведений, от вас полученных, с вами опасно встретиться, и если правда то, что аббат Лемуан раз сказал, то... я боюсь...
- Если боитесь, для чего же вы не прошли мимо, а позвали меня?
- Для того, чтобы вы сами меня вразумили...
- В чем?
- Опасно ли с вами встречаться или нет?
- Поздненько вы об этом спросили! Прежде, нежели вы выведали то, чего вам знать не должно было... не анекдот о графине дю Барри, а ... вы помните — прежде этого вам надлежало бы осведомиться об опасности... Впрочем, я готов вас удовлетворить и вместо ответа на ваш не слишком лестный вопрос я расскажу вам сказочку, историю, старинное немецкое предание, известное в Южной Германии... хотите?
- Нет, скажите лучше прямо, без сказочек.
- Извольте. Я хотел доказать вам примером, что нет никакой опасности встретиться не только с человеком, но да-

же и с нечистым духом — тому, кто умеет устоять против искушений. Тому же, кто их сам ищет — опасно иметь дело даже с невинным ребенком.

— Вот как!

— Да, не иначе. Видал я на своем веку таких извергов, которые, пользуясь невинностью и доверенностью, вселяемую детским возрастом, приучали малолетних к воровству или к ремеслу неподозреваемых шпионов... разумеется, приучали в свою пользу.

— В таком случае, — сказал, смеясь, Гацфельд, — опасность встречи была на стороне малолетних.

— Конечно! Однако недаром сказано, что кто соблазнит одного из младенцев, тому легче было бы, если бы ему навесили жернов на шею и бросили в море. Надобно бояться не человека, любезнейший Густав Федорович; должно бояться греха: он опасен!

— Кстати, о грехе, которого вы так боитесь: скажите, почтеннейший Иван Адамович, если открытый вами мне секрет выигрыша не иное что, как обман, шутка, и я, поверив вам, рискну последние деньги и проиграю их — не грешно ли вам будет!

Шиц нахмурился.

— Не бойтесь проигрыша, — сказал он грозным голосом, — бойтесь выигрыша, который так верен, как ваше существование в эту минуту! О, насчет желаемого выигрыша будьте спокойны.... За последствия я не отвечаю. Прощайте. До свидания!

Последние слова сказал он значительным тоном.

Наступил сентябрь. Гацфельд не имел уже предложений, да и не хотел отказываться от многократных приглашений своей матери приехать к ней в отпуск и посмотреть выбранных ему невест. Насчет последнего, Густав был очень

спокоен, зная наперед, что ни одна невеста ему не понравится. Он получил билет на три месяца, распростился на время с блестящим обществом и столичными увеселениями и поехал в смиренный уезд Псковской губернии с таким же веселым духом, с каким богатый наследник отправляется в Париж.

Как прежде положил Густав, так и исполнил. Старая генеральша была очарована милым сынком, которого видела не только в больших эполетах и украшенного орденами, но вместе с сим почтительного и душевно ее любящего. Только это очарование, эта радость были несколько отравлены неудачей в сватовстве и разрушением всех многолетних замыслов доброй матери. Не судьба! ни одна ему не понравилась! Видно, Богу не угодно!.. Тяжело вздохнула генеральша и дала сыну благословение выбирать себе самому невесту, примолвив, что, по-видимому, она не будет свидетельницею его счастья, предчувствуя свою близкую кончину. Другими словами, это значило: «Делай, что хочешь! я тебе не помеха, да скоро Бог и совсем тебя избавит от тягостной обязанности испрашивать моих позволений!..»

Она как будто сдержала слово, потому что умерла через два месяца по отъезде сына, не узнав ничего о связях его с Анелею.

Но во время пребывания его в отпуске, он должен был выдержать другую пытку, и выдержал ее геройски, с благородным, твердым духом. Он обязан был навестить лифляндского дядю, который принял его с распростертыми объятиями и с такими изъявлениями радости и любви, что Густав не знал, откуда набралось столько нежности и ласки. Вскоре все пояснилось. Кроме известной ему почтенной госпожи Бранд, у дядюшки проживала еще какая-то дама или девица, еще молодая, у которой окончность подбородка была на таком же расстоянии от окончности носа, на сколько от последнего пункта отстояло начало волос на середине лба. Это Гацфельд измерил как опытный математик и съемщик. И на середине огромного пространства между носом и подбородком был маленький, съёженный ротик, как... сердечко, что составляло физиономию не

весьма изящной красоты, даже и в немецком вкусе. Тем не менее, дядюшка чрезвычайно ласкал эту куколку и называл ее «либхен, либхен!», а по-русски это значит: «милочка», и говорил дядюшка, что это редкая девушка, отличная хозяйка, добронравная и проч. и проч. и проч., столько раз прочая, сколько обыкновенно считается домашних добродетелей за зрелыми девушками, которым ищут жениха. Оказалось, что это племянница госпожи Бранд, та самая, которую прочили замуж, да дело не состоялось, и эта достойная девушка остается сиротою, между тем, как с прекрасными своими качествами могла бы составить счастье порядочного человека. Заметно было, что Густав не обращал внимания на эти рассказы. Тогда дядюшка решился объяснить прямо и признался с тяжелым вздохом, что эта мнимая племянница его домоводки гораздо ему ближе, нежели как думают; что он по совести обязан передать ей все свое имение, но, не желая обидеть племянника, предлагает ему уладить это дело по-родственному... женившись на либхен! От такого предложения Густав с ужасом отскочил назад и, вооружась военною твердостью и чувством собственного достоинства, объявил, что не осрамит ни себя, ни мундира своего таким бесчестным поступком. За это объяснение, раздраженный дядюшка тут же уничтожил свое духовное завещание в пользу Густава и объявил, что принадлежащий ему капитал будет представлен куда следует, и что там он может его получить. Сим кончились все сношения дяди и племянника. Густав рассказал об этом матери, которая одобрила его поступок.

Таким образом, потеряно было наследство после дяди, и Гацфельд возвратился в Москву с билетом санкт-петербургской Сохранной Казны в сорок тысяч, который составлял все его имение. Еще дорогою он решился приступить к

делу, то есть отыскать в столице большую игру и воспользоваться секретом Шица. Но не сейчас же по приезде можно было этим заняться: надобно было и воздать должное службе, и порядком справиться о состоянии картежных дел. А между тем, пришлось уплатить прежнего долга тысячи три, да в чаянии будущих благ удовлетворены новые потребности, так что на игру осталось с небольшим или почти ровно тридцать тысяч. На эту сумму можно взять двести тысяч. Много ли же это? Как мало в сравнении с богатством Рамирских и Лиодоровых! И что же сделаешь из двухсот тысяч? Можешь ли удовлетворить благородной, пламенной страсти к искусствам, к художествам, к литературе, ко всему изящному? На удовлетворение всех придуманных Гацфельдом потребностей надобно было бы иметь по меньшей мере шестьдесят тысяч годового дохода, следовательно, более миллиона капитала. А как его сделать? и есть средство, и нет средства... мучительное положение!.. Замечательно, что, в исчислении своих потребностей, Гацфельд забыл о женитьбе.

Предаваясь беспрестанно таким мыслям, невольным образом стал он вмешивать в разговоры свои сетования на небогатое состояние и изъявление чистосердечного желания разбогатеть. Но, так как это желание общее, то слушающие Гацфельда говорили только: «Да! не худо быть богатым!» и никто не помог ему добрым советом, которого, впрочем, он и не спрашивал прямо. В числе его знакомых был некто Аглаев, человек холостой, лет пятидесяти, который прожил до тысячи душ родового имения, и подлинно прожил: проел, пропил, проездил в чужие края и частью проиграл в большие коммерческие игры, только не в банк, нет. И по сим причинам никто не называл Аглаева ни промотавшимся, ни проигравшимся; говорили только, что он прожил имение в свое удовольствие, и это сохранило его репутацию.

У Аглаева остался небольшой капитал, которого проценты удовлетворяли первейшим потребностям его жизни, да приобрел он искусство в коммерческих играх, соединенное с расчетом и осторожностью. Это умение, купленное дорогою ценою, доставляло ему каждый вечер партию в англий-

ском клубе, и платило за его обеды и ужины в сем заведении. Аглаев не отставал от привычки хорошо поесть и попить, и мало того, что был хороший гастроном, он знал теоретически и практически поварское искусство. Когда в клубе подавали желе из смородины цвета фиолетового, то Аглаев говорил: «Это не должно быть! Это значит, что желе было изготовлено в луженой посуде», и по справкам так и оказывалось. Такие познания делали Аглаева очень потребным человеком для заказных обедов, на которые его всегда приглашали как распорядителя, и, если кто давал великолепный пир под его присмотром, то мог сказать, как мещанин во дворянстве: угощает г. Аглаев, а я только деньги плачу.

К сим достоинствам искусный гастроном присовокуплял еще одно похвальное качество: услужливость. Кроме того, что он готов был служить своими познаниями насчет обедов и пиров, Аглаев мог научить средствам достать денег, приискать место, и — жениться выгодным образом. Все это делал он с чрезвычайною философиєю, бескорыстно и не наобум. Когда он советовал искать *там*, то смело можно было ручаться, что *там* можно найти желаемое: деньги, место или невесту, а иногда и все вместе; за добрый совет он не только не требовал ничего, но и никому в нем не отказывал; а философия его доходила до того, что он, предвидя дурные последствия успеха таких поисков, никогда не предувещивал, не стращал и не отговаривал, а напротив, желающему указывал дорогу, и если тот сам оказывал опасения насчет последствий, то Аглаев ободрял его, держась золотого правила: риск — благородное дело.

Этот-то Аглаев, наслушавшись вдоволь жалоб Гацфельда, очень равнодушно объявил, что ему предстоит вернейшее средство если не обогатиться вдруг, то по крайней мере положить прочное начало будущему богатству. После кампании, множество молодых людей, богатых помещиков или наследников, оставили службу, зажили на воле в свое удовольствие, расстроили имения и теперь продают их по дешевой цене. Можно за бесценок покупать отличные вотчины, разумеется, такому человеку, который знает в этом толк и намерен заняться хозяйством; денег на покупку можно

достать посредством женитьбы. Вот это последнее средство казалось бы неверным; но опытный и рассудительный Аглаев доказал, что тут дело зависит от точки зрения на этот предмет и говорил, что вместо того, чтобы искать невест, за которыми столько-то душ, должно посмотреть тех, за которыми, кроме собственной, не может быть ни одной души, а взамен того есть толстый *in quarto* ломбардных билетов, удобно превращаемых в ревизские души. «Вот дочь богатого помещика, — говорил Аглаев, — за нею дают славную вотчину в такой-то губернии. Прекрасно! Только должно вспомнить, что отец этой богатой невесты и вся ее родня — природные дворяне, которых высокоблагородством не прельстишь, если при нем не насчитается ревизских душ вдвое против того, что дается за невестою. Таким давай превосходительств и сиятельств, и то еще с большим разбором. Посмотрите же в другую сторону, поищите в сословии разбогатевших купцов или мещан, которые сами лично не отстают от дедовских обычаев, а дочек, в силу родительской любви, уже начали обучать и по-французски, и на фортепьяно, и вывозят на балы к Йогелю* и в театр. О! там готовы озолотить того, кто скромную отрасль откупов или мелочной торговли, или фабричного производства, как они говорят — кто такую включит в коренной дворянский род, сделает чиновницею, помещицею, барынею, которая берет годовой билет в благородное собрание и имеет двух лакеев в ливрее за каретою! Тут если бывает затруднение насчет женитьбы, то затруднение это происходит не от взыскательности, не от гордости, не от расчетов, а от скромности, от застенчивости, от опасения, что предложение делается не от чистого сердца, а может быть, в шутку, или по причине слишком дурных обстоятельств, доводящих до такого унижения. Вооружитесь философиею, любезнейший Густав Федорович, и я вам представлю невесту с тремя сотнями тысяч собственного капитала, на имя ее хранящегося в твердых Опекунского Совета. Предупеждаю вас, что ее мать ходит с повязанною головою, не знает грамоте и ма-

* П. А. Йогель (1768-1865) — знаменитый московский танцмейстер.

стерица печь пироги: благородное занятие, от которого не отстают она при всем своем богатстве. А дочка называется Ульяна Федосеевна Чураксина... Что за беда? Будь итальянская певица по имени Чоразо — чем лучше Чураксиной? А это прозвание никому не покажется странным. Не слишком также звучно Ульяна Федосеевна. Почему? по малому употреблению. Ульяна та же Юлия, романическое имя. А русский Федосей не тот ли же Theodose, который так хорошо звучит по-французски?.. Без шуток, любезнейший Густав Федорович! Я вас познакомлю, если хотите. И поверьте, что подполковнику, украшенному знаками отличия, хорошо воспитанному и вхожему в лучшее общество — отказ бояться нечего. Подумайте хорошенько о моем предложении. Триста тысяч! С этою суммою смело покупайте тысячу душ и наживайте пятьдесят тысяч годового дохода».

Да! об этом можно подумать! Тут не тысяча душ, а семь кушей от трехсот тысяч, пожалуй, хоть от двухсот, — итого полтора миллиона, собственных, благоприобретенных... Нельзя сказать, чтобы Густав крепко ухватился за эту мысль, которая вела бы к нешуточному искательству руки или приданого девицы Чураксиной. О такой женитьбе он еще не помышлял; однако попросил Аглаева познакомить его с Чураксиными. Из каких же видов? Без всяких видов! Но что же за причина?.. О! довольно важная, выражаемая словами: «Так!» Есть много людей, особливо в Москве, которых все деяния не имеют другой причины!...

Впрочем, для наблюдателя очень любопытно узнать семейство вроде Чураксиных; члены высшего сословия столько же знают людей других званий, сколько астрономы знают планеты: они видят их и исчисляют их пути, а что на них или в них — это им неизвестно. Итак, Чураксины удостоились внимания Гацфельда, как вновь открытая планета.

Федосей Савельев Чураксин был сын крестьянина экономической волости, на двадцатом году от рождения отправленный отцом в столицу с простым, незавидным товаром, с благословением и с двадцатью целковыми на разживу. Через двадцать лет у Федосея Чураксина было на два миллиона торговых оборотов. Счастье? Тут кстати повторить

слова бессмертного Суворова: «Помилуй Бог, все счастье! Нельзя ли приложить к нему немного и ума!..». Так и было. Федосей Чураксин, мужик необразованный, был трудолюбив, деятелен и сверх того обладал редким качеством, коренным русским, которое не имеет даже выражения для себя на других языках. Это качество называется *сметливостью*. Федосей Савельевич Чураксин помер в звании богатейшего московского фабриканта, купца первой гильдии и кавалера. Он похоронен в ***монастыре, и над могилою его поставлен богатый мраморный памятник, с эпитафиею... Да кстати, мы выпишем слово в слово эту эпитафию, в коей заключается вся история покойника:

Под камнем сим лежит Чураксин Федосей
Он первой гильдии купец был в жизни сей,
Торговлей с честью, с успехом занимался,
В фабричном мастерстве с искусством подвизался,
Трудами нажил он огромный капитал,
И уважение от всех себе снискал.
Друзьям и сродникам и всем служил примером
И был владимирским к тому же кавалером, и проч.

Есть и еще несколько стихов, но те не так замечательны. Разумеется, что Аглаев не сказал ни слова Гацфельду о такой эпитафии, да и других просил не говорить ему об этом.

Федосей Савельевич женился, будучи еще в небогатом состоянии, и взял жену, приличную своему быту, простую, трудолюбивую, безграмотную, большую охотницу и мастерицу печь пироги, как сказывал Аглаев, исправную соблюдающую всех постов и набожную по-своему. Такова была Аграфена Елисеевна. Из дюжины детей, ею рожденных, остались в живых два сына, Африкан и Северьян, между которыми разницы в возрасте было восемь лет, да дочь Ульяна, которой во время первого знакомства с Гацфельдом было уже двадцать два года. Старший сын, Африкан, был воспитан на медные гроши, провел юношеские лета в лавке, занимался торговлею, а не чтением, не театрами и не удовольствиями большого света; женился в положенное время на

купеческой дочери, которую выбрали ему родители, и вообще нисколько не отступил от отцовских обычаев и поверий, за исключением роскоши, которая сделалась для него необходимостью, по причине богатства: он получил на свою долю восемьсот тысяч наличными, кроме заведения и товаров. Младший брат его был воспитан иначе: с малых лет был отдан в пансион, где выучился очень и очень хорошо французскому и английскому языкам; впоследствии ознакомился и с немецким, по собственной охоте; был искусный каллиграф; знал бухгалтерию; любил чтение; в университете обучался химии и технологии, а на двадцать первом году отправился в Англию и во Францию для усовершенствования своих мануфактурных познаний, и провел там четыре года, прилежно занимаясь делом. Что можно было заимствовать хорошего от иностранцев — то заимствовал Северьян Чураксин; но чего не должно было бы с собою возить из чужих краев, то привилось к нему само, без его желания и старания, и приехало с ним, как бородавка, как родимое пятно, наросшее в другом климате. Вот что это было.

Когда возвращающийся на родину Северьян, в глубокую осень, переехал за Одер, потом за Неман и попал в мрачные леса Минской губернии, то невольно напала на него тоска. Когда рано утром он очутился на Днепре, в настоящей России, когда повеяло на него родимым холодным воздухом, когда услышал он благовест колоколен смоленских — какое-то радостное чувство овладело им. Это родина!... Но непродолжительно было это чувство. Тряская дорога вместо гладкого шоссе; страна малонаселенная и ровная вместо прелестных видов холмистой Европы; неудобные, неопрятные, ничем не снабженные постоянные дворы вместо хороших, всем изобилующих трактиров Франции и Германии (об Англии и говорить нечего) — все это заставило Северьяна поневоле делать сравнения, очень невыгодные для его родины.

Чувство смешного недовольства еще более усилилось в Северьяне, когда он соединился с своим семейством и вошел в тот круг, к которому он принадлежал. Все, даже мелоч-

ные обычаи этого круга, от которых он так отвык, вселяли в него отвращение, которое он не считал за нужное скрывать. Родные наконец вынудили его нанять себе особую квартиру, где мог бы он жить по-своему: этого только он и хотел.

Но сим не ограничилось неистовство европейской образованности Северьяна Чураксина. Начали поговаривать, что пора ему жениться, и Северьян торжественно объявил, что он на русской не женится. Аграфена Елисеевна ахала от ужаса, слушая такие слова. Но Северьян устоял на своем и женился на дочери иностранца, очень хорошо воспитанной, но некрасивой, небогатой. Впрочем, Северьян Чураксин оказался хорошим мужем и вообще добропорядочным человеком. Он завел фабрику, которою управлял с умением, с строгою отчетливостью и с примерною честностью во всех торговых оборотах. Он-то познакомился по гастрономии и подружился с Аглаевым, которого ввел и в дом родительский: пообжившись в России, он стал менее чуждаться дома и круга матери и брата. Но более всего его привлекала туда сестра, предмет его любви и душевного сокрушения.

Юлия, Ульяна или Уляха, как называли ее домашние — до одиннадцатилетнего возраста воспитывалась или, лучше сказать, росла и откармливалась в доме родительском без всякого учения: Аграфена Елисеевна утверждала, что пора девочки ее ушла, а с ранних лет морить ее учением — только портить. Потом, общим семейным советом, составленным из всей двоюродной, троюродной и правнучатной родни, рассчитано, что Ульяна имеет триста тысяч наличными, да бриллиантов на сто тысяч, да серебра, золота и других вещей на тридцать тысяч, да по смерти матери достанется ей триста тысяч, и, следовательно, Ульяна не только в России, но и в чрез меру денежной Англии могла бы назваться богатою невестою. Посему решили, что Ульяне нужно хорошее воспитание, французский язык, музыка и танцевание, и Ульяну отдали в один из лучших московских пансионов с платою вдвое более против других воспитанниц, потому что содержательница принимала исключительно благород-

ных девиц, и только в пользу Ульяны отступила от коренного постановления ее знаменитого пансиона. Ульяна принесла с собою в учебное заведение все привычки детства, проведенного на кухне, в беготне по двору в сообществе необразованной матери и стряпухи, и в баловстве, неизбежном для единственной дочери богатых родителей. Она была своенравна и своевольна, и не только не имела понятия о щегольстве, но даже была настоящая неряха. Этого мало: ее любимое лакомство состояло в сырой репе, моркови и пучках зеленого гороха и бобов, которые, несмотря на строгое запрещение, тайком доставляли ей служанки. Сверх того, она была голосиста, криклива и неосторожна в словах, и все приемы, все жесты ее были как-то грубы и топорны. Ни одна из благородных воспитанниц не хотела с нею знаться, да и сама содержательница не раз намеревалась отдать ее родителям, но была убеждена просьбами, а более подарками всех Чураксиных. Мало-помалу Ульяна пообжилась в пансионе, что называется, выполировалась, и если не набралась отличного вкуса и благородных привычек, то отстала от прежней бойкости и сделалась застенчива, степенна, чопорна, — так что матушке любо было смотреть. Шесть лет провела она в пансионе, и когда выучилась болтать по-французски, разыгрывать на фортепьяно неумирающего московского «Соловья» и увертюру из «Двух слепых» и, что всего важнее, когда выучилась очень порядочно танцевать даже французскую кадрили, тогда еще не так всеобщую, как ныне — то естественным образом курс ее воспитания кончился, и она возвратилась в дом родительский готовою невестою и по летам, и по образованию, и по приданому. Женихов представилось многое множество; только воспитанная Ульяна, ныне уже Юлия Федосеевна, оказала себя очень разборчивою, и даже решительно объявила, что не намерена быть купчихою, а желает сделаться дворянкою. Это было не по нутру Аграфене Елисеевне, но братец Африкан не противился сестрице. Тут вскоре подрос и Северьян с своими иноземными привычками. Этот без церемонии, во французских разговорах с сестрою, убеждал ее ни за что в мире не выходить за русского купца.

Ульяна Чураксина, с своей стороны, была очень расположена, и считала себя вправе презирать — только не купеческое сословие. Однажды в пансионе, содержательница выговаривала ей за неприличные поступки и, обратившись к другим воспитанницам, сказала: «*La caque sent toujours le hareng*»*. Выражение содержательницы пансиона было так же простонародно, как и замашки бедной Уляхи. Однако эта поговорка была подхвачена благородными воспитанницами, которые часто потчевали ею Сандрильйону-Чураксину и даже ею проводили из пансиона. Легко было заметить, что язвительное изречение употреблялось наиболее в таких случаях, когда толковали о богатстве Уляхи, которая с этой стороны превосходила всех своих благородных подруг. По возвращении в родительский дом, она потеряла их из виду, не будучи вхожа в их круг и не встречая их на доступных ей балах купеческого собрания. Однако она помнила злодейскую поговорку, и во что бы ни стало хотела за презрение отомстить презрением. Богатое приданое могло ей доставить на то средство. Вышедши замуж за дворянина, она легко могла на бале благородного собрания или какого-нибудь вельможи затмить блеском своих бриллиантов бывших пансионских подруг или, встретив одну из них в магазине Розенштрауха, занятую рассматриванием сторублевых вещиц, тут же потребовать бронзы и фарфора тысяч на пять и гордым взглядом, брошенным на скудную покупку бывшей подруги, спросить ее: «*Eh bien, ici la caque sent-elle le hareng?*»** Столько-то она знала по-французски, чтобы сочинить и затвердить такое выражение.

Этих тайных замыслов Ульяна не открыла никому, а изъявляла желание быть дворянкой только по праву богатой невесты; и братец Северьян утверждал ее в этих мыслях, доказывая, что, по английскому счету, она имеет около тридцати тысяч фунтов стерлингов, а с такою суммою

* Букв. «бочка по-прежнему пахнет селедкой» (*фр.*), русский эквивалент — «горбатого могила исправит».

** Ну что, бочка еще пахнет селедкой? (*фр.*).

великобританские уроженки часто попадают в леди: почему же ей не попасть в русские барыни? Эта мысль очень нравилась и старшему брату Африкану, который был в полном смысле добрый мужик; да и жена его Любовь, называемая им *Любасою*, была очень добрая баба, ростом почти в сажень, и душевно любившая мужа и его родню. Не нравились такие замыслы Аграфене Елисеевне. В силу образованности можно было бы оставить без внимания причуды безграмотной матери; но та беда, что в силу грамотного завещания Федосея Савельича, Аграфена Елисеевна имела право лишить детей наследства в случае их неповиновения или непочтения. Добрая женщина не воспользовалась этим правом и отдала сыновьям их доли отцовского достояния; однако дочь оставалась в полной зависимости от ее воли.

Гацфельду был представлен прежде всех Северьян Чураксин, как добрый приятель Аглаева и человек образованный; Густав был рекомендован под теми же титулами. О женитьбе не сказано ни слова. Аглаев знал намерения Ульяны Чураксиной и братьев ее; знал также непреодолимую охоту Гацфельда обогатиться во что бы ни стало — и предоставил им самим объясняться, если дойдет до того дело. Что же касается до него, то он считал себя исполнившим долг услужливости и филантропии в отношении к Густаву, которому дал добрый совет и показал дорогу; в отношении же к Чураксиным, он не считал себя вправе вмешиваться в их семейственные дела; его дружба к Северьяну так далеко не простиралась; она была чисто гастрономическая и ограничивалась истреблением чудесных обедов, которыми иногда потчевал его Северьян.

Знакомством с Аглаевым наиболее дорожила Каролина Францевна, супруга Северьяна Чураксина, женщина умная и образованная, которая умела овладеть даже и Аграфене

ною Елисеевною. Она считалась оракулом в целом семействе Чураксиных, и, когда молва прошла о намерении Ульяны сделаться дворянкой, и множество женихов благородного звания стали искать ее руки — то все они были забракованы Каролиною Францевною, потому что оказывались людьми невоспитанными, промотавшимися и невидными по службе. Когда же Аглаев рекомендовал Гацфельда, то знал, что этот будет иметь счастье понравиться могущественной Каролине Францевне.

Так и случилось. После первого часа, проведенного вместе, мадам Чураксина с особенною любезностию просила Густава о продолжении знакомства, а после трех или четырех его визитов объявила мужу, что этот годился бы для Юлиньки. Но Гацфельд и не помышлял о женитьбе, как ни приманчиво было огромное приданое девицы Чураксиной. Если усыпленная совесть не напоминала ему громко о прежних намерениях и даже обязанностях, то по крайней мере препятствовала думать о других связях. Густав думал только о богатстве, к достижению которого он имел вернейшее средство; но и это средство требовало других средств.

Нельзя сказать, чтобы он был частым посетителем Чураксиных, однако не отказывался от приглашений на большие обеды, которые под разными предложениями оба брата Чураксины давали чаще обыкновенного. Только, на беду их, Гацфельд более ухаживал за Каролиною Францевною, нежели за Ульяною Федосеевною. Видя такое равнодушие, Чураксины готовы были отложить помышление о Густаве; но Каролина Францевна решила, что все это должно обделаться, взялась сама действовать, и очень откровенно попросила Густава заняться Юлинькою. Гацфельд посмотрел на нее с изумлением.

— Да, — продолжала Каролина Францевна с видом простодушия, — бедная девушка совершенно не видит большого общества, а по воспитанию своему она вышла из того круга, в котором родилась. Частое обхождение с человеком умным, образованным и знающим большой свет принесло бы ей большую пользу.

— А! если так — пожалуй!

И Гацфельд начал любезничать с Ульяною Федосеевною.

Мало-помалу Ульяна, Уляша, Юлинька, *Жюльен*, как называли ее родные, судя по различным степеням их образованности и европеизма — начала делаться развязнее в обращении с Гацфельдом, и даже кокетничала... довольно неловко. Это забавляло Густава. Однажды, в приватной беседе у Чураксиных, где кроме его и Аглаева не было посторонних, Юлинька потребовала, чтобы Гацфельд показал ей перстень, который он всегда носил. На сердолике был выгравирован треугольник и в середине его буква J (этот перстень получил Густав в какой-то иностранной масонской ложе, называвшейся *Jerusalem*). Юлинька потребовала объяснения этих знаков. Густав пригласил ее угадать. Жеманясь, сказала она, что должна быть заглавная буква чьего-нибудь имени.

— Какого же, например?

— Почему я знаю! Жанетта, Жозефина....

— А может быть — *Жюльен*! — сказал Гацфельд.

Они говорили вполголоса. К ним подкрался Питаша, четырнадцатилетний первенец Африкана Чураксина, большой шалун, матушкин сынок и бабушкин любимец, едва начавший обучаться грамоте. Грозно крикнула на него Юлинька:

— Это что значит? что ты подслушиваешь?

— Слышал, слышал! — весело отвечал бойкий Питаша.

— Ну, что ты слышал?

— *Жюльен*.

— Так что же?

— Так, ничего!

И начал расхаживать, повторяя: «*Жюльен*, *Жюльен*!»

Аглаев сидел, задумавшись.

Неугомонный Питаша подошел к нему и спросил:

— Василий Петрович! что значит «*Жюльен*»?

О чем тогда думал Аглаев? Был ли он занят гастрономиею, или захотелось ему одурачить молодого баловня, только он отвечал очень серьезно:

— *Жюльен*? это славная вещь! Вот видишь — морковь и репа разрезаются в мелкие кусочки и жарятся в

масле вместе с горохом, с кервелем и заячьей капустой; потом это кладется в суп...

— Ха, ха, ха! — громко закричал Пяташа, и, хлопая в ладоши, подбежал к Юлиньке. — Знаю, знаю! Жюльен — это морковь, репа и заячья капуста в масле.

— Что? что? — спросили и Юлинька и Каролина Францевна.

— Так мне сказал Василий Петрович!

Юлинька покраснела.

— Ах, Василий Петрович! — сказала она подошедшему Аглаеву. — Как это вам не стыдно! Жюльен — мое имя; а вы тут приплели репу и заячью капусту...

Аглаев начал извиняться, а Гацфельд лукаво рассмеялся. Юлинька увидела его усмешку и поспешно ушла из комнаты.

— Что с Юлинькою? Куда девалась Юлинька? — начали спрашивать со всех сторон. Каролина Францевна пошла осведомиться и возвратилась с известием, что Юлинька рассердилась и плачет. Всю беду свалили на Пяташу, которого порядочно побранили, и пошли утешать Юлиньку — разумеется, за исключением Аглаева и Гацфельда, которые, оставшись одни, посмотрели друг на друга, не сказали ни слова о происшедшем и уехали.

Прошло несколько дней, и Гацфельд получил вежливое приглашение от европейцев Чураксиных.

— Вы безжалостны, — сказала Каролина Францевна. — Наделали нам горя и покинули!

— Я? чем?

— Бедная Юлинька больна и не может утешиться: так сильно огорчила ее ваша насмешка!

— Какая насмешка?

— Я должна была сказать, ваша усмешка. Вы помните? после мудрого растолкования москѣ Аглаева, что значит Жюльен.

— Тогда я посмеялся над промахом Аглаева.

— Юлинька приняла это на свой счет и крайне огорчилась, потому что она к вам привязана, уважает вас, дорожит каждым словом вашим, и сверх того, она дитя, совер-

шенно неопытная девочка, не умеет скрывать своих чувств... Будете сострадательны, утешьте ее! Поедьте к ним после обеда...

О-го!... Понимай и толкуй как хочешь, а смысл всего этого выйдет такой, что Ульяна Чураксина открывает свое особенное расположение к Густаву Гацфельду! Что же мудреного? он ей понравился... Если бы поменее было самолюбия, то легко было бы угадать, что Юлиньку представили только больною и сильно огорченною; а что она заплакала в минуту усмешки, то это происходило не от особенного расположения к насмешнику, а просто от досады: человек, которого она, по общему уверению, считает своим женихом, вздумал смеяться над неудачным применением ее имени к репе и капусте — в когда же? в ту минуту, когда после разговора о таинственном перстне естественным образом она ожидала первого признания в любви!...

Юлинька была утешена, и вскоре по всей Москве разнеслись слухи, что Гацфельд женится на богатой Чураксиной. Эти вести дошли и до него. Напрасно он уверял, что ему это и в голову не приходило: все стояли на своем, и даже друг и товарищ, князь Лиодоров, поздравил его от души и сказал:

— Доброе дело! Что смотреть на то, что она не дворянка? Как говорят, она очень богата, прекрасно воспитана и недурна собою, *une jolie personne**. Чего же более?

Последние два пункта были вовсе несправедливы, потому что Юлинька и в провинции не была бы признана прекрасно воспитанною; а что касается до красоты, то она, по пословице, и не сиживала вместе с красавицами. Худощавая, бледноватая и с черными зубами!... Какое сравнение с Анелою?..

Кстати, об Анеле. Густав сам замечает, что он едва ли не менее думает о сочетании с нею, нежели с Чураксиною. Он как-то отвык от нее. Они уже более года не видались, и переписка их прекратилась. Анеля не могла много писать по-французски, а польский язык не очень понятен Гацфель-

* Здесь: миленькая (фр.).

ду; он же не писал за недосугом. Все это по форме и в порядке, и дела еще не расстроило. Только по странному стечению обстоятельств, в то самое время, когда московское пустословие высватало Чураксину за Гацфельда, он получил от самой Анели освобождение от всех прежних обязанностей и дозволение жениться на другой. Да! это ясно выражено в коротеньком письме, которое начинается сухим, обыкновенным воззванием: «*Monsieur!...*» — ничуть не лучше «милостивого государя» — и оканчивается слишком равнодушным: «*votre servante*», «вам готовая к услугам». Что это значит?... Через два дня все пояснилось.

Пан Гулевич должен был убедиться в той горькой истине, что его племянница подвергнута участи большей части легкомысленных девушек. Все клятвы и уверения Гацфельда на деле не исполнялись, а времени ушло много. По всему заметно было, что Густав, пользуясь своим отсутствием, намерен отделаться от тягостной обязанности очень благородным и весьма употребительным средством, то есть, намерен *отмолчаться*, и своим молчанием заставить замолчать и требующих и собственную совесть. Пан Гулевич уже видал тому примеры, однако с своей стороны не только не намерен был так скоро замолчать, но решился заговорить так громко, чтобы и виновному было не до молчания. Не сказав ни слова Анеле, он, с одним офицером, отправившимся в Москву, послал прегрозное и пренеучтивное письмо к Гацфельду, и недели через две после этой экспедиции торжественно объявил племяннице, что теперь вероломный должен будет решить ее участь. Как только узнала это Анеля, то с твердостью начала выговаривать дяде за его поступок и сказала, что решение этого дела зависит не столько от Гацфельда, сколько от нее самой, и что если она ни к чему не принуждает, то другие не имеют на то ни малейшего права. И после, движимая каким-то чувством — благородным ли великодушием, любовью ли, досадою ли, презрением ли к изменнику — этого она и сама не знала, — но, движимая одним из этих чувств или, вероятнее, всеми вместе, написала к Гацфельду то холодное письмо, которое так его изумило. Между тем, офицер с письмом пана Гулевича

загостился на дороге у знакомых и приехал в Москву позже, нежели предполагал. Таким образом, грозное послание дяди было получено после письма Анели. И та, и тот как будто вызывали Гацфельда на разрыв с ними: так, по крайней мере, сам он решил в первую минуту неудовольствия, и впоследствии подкрепил это решение своими философическими размышлениями.

«Женись! женись на Чураксиной! не упускай случая, Густав Гацфельд!»

Вот что говорили все его знакомые, все незнакомые, вся Москва хором, все ее улицы, переулки, закоулки, приходы с странными прилагательными, физиономии всех проходящих, каждый богатый дом, каждый великолепный бал или обед, едва ли не каждая ворона, голубь и воробей, разлетающиеся по белокаменной. Все, все твердило ему: «Женись на Чураксиной!» А один ему известный, таинственный голос говорил: «Возьми триста тысяч, выходи в отставку, поезжай в чужие края и выиграй там три миллиона, в чем ты не имеешь никакого сомнения; с Анелею дело кончено, и ты не виноват!»

Гацфельд решился и отвечал всей Москве: «Женюсь, женюсь на Чураксиной». Дело слажено до половины; кажется, препятствия быть никакого не может. Ульяну Чураксину они видимо навязывают ему на шею; глупой девке натолковано, что это самый выгодный жених: она во сне и наяву видит только то, как бы ей быть скорее полковницею Гацфельд. Русак Африкан и его добрая Любава рады породниться с хорошим человеком; это они сами говорят, и прибавляют к тому, что Густав Федорович не оставит своим покровительством их Пяташу, запишет его в службу и выведет в офицеры. Бедняжки! прости вас Бог!...

О Северьяне и Каролине Францевне говорить нечего: имя Гацфельда нерусское, и довольно для них.

Остается матушка Елисеевна.

— А какого он закона? — с важностью спросила она, когда выслушала предложение. Принуждены были ей объявить, что Гацфельд закона *нерусского*.

— Ну, так и толковать нечего! Ульяне нельзя быть за ним!

Ответ решительный и неопровержимый. Урезонить Елисеевну не было никакой возможности. Весь ум Каролины Францевны в этом случае был бессилен, тем более, что сама она была иноверка. Все предлагающие Чураксины вынуждены были недовольными физиономиями выразить, как неприятно им такое сопротивление: слова были бы напрасны. Ульяна воспользовалась правами разочарованной любовницы или, яснее по-русски, невесты, лишенной жениха: она упала в обморок, потом кричала и плакала, в заключение легла в постель, отказывалась от пищи и громко призывала смерть.

— Дура, дура! — говорила матушка Елисеевна. — Сама не знает, что говорит!

Гацфельд сам объяснился с упрямою Елисеевною, и с чрезвычайно важным видом объявил ей, что он любит ее дочь, ею взаимно любим, и что отказ матери почитает за обиду не только себе, но и мундиру своему. Он много кое-чего ей наговорил и начал стращать тем, что прибегнет к покровительству местного начальства.

— Оно так, мой батюшка! — спокойно отвечала Елисеевна. — Только я никакого начальства не боюсь. Я властна в моей дочери. Мы люди темные, верим тому, чему нас учили. Нам отцы и деды заповедали с иноверцами не связываться, по русской поговорке: «всякий сверчок знай свой шесток!» А стыдно вам, сударь, дворянину и офицеру, с последнего ума сводить глупую девку. Вы добираетесь до ее приданого — не видать вам его, как ушей своих!

Прошла неделя, и вдруг Ульяна сделалась чрезвычайно весела, начала ребячиться, смеяться кстати и не кстати, распевать песенки, приплясывать и попрыгивать.

— Что это, мать моя? — спросила Елисеевна. — Чему так

обрадовалась?

— Об чем же печалиться? — в свою очередь спросила Ульяна.

— Ты еще что-нибудь затеваешь?

— Конечно, затеваю, и доброе дело. Я выхожу замуж.

— Что такое?

— Так, ничего! Вы сказали моему жениху, что ему не видать моего приданого, как ушей своих. Он его и не требует. Берите себе мое приданое. Перед вами оно! А я беру жениха, которого выбрала.

— Да кто тебе позволит?..

— А кто может мне запретить? — с живостью возражала Ульяна. — Разве я не властна располагать своим сердцем?

Елисеевна побледнела и задрожала.

— Если так, — сказала она, задыхаясь, — то... прости меня, Господи!

Ульяна испугалась, однако нарочно продолжала казаться веселою. Елисеевна велела к вечеру созвать всех родных и пригласить Гацфельда. Все собрались. Матушка попросила их подождать, вышла в другие комнаты и через полчаса явилась в собрание, неся в руках икону.

— Ульяна! — сказала она. — Густав Федорович! пожалуйста сюда. А вас всех прошу прислушать. Единственная, родная дочь объявила мне, что она выходит замуж против моей воли. Не потерплю такого греха, стыда, чтобы материнское благословение было презрено. Я его даю...

Благословив дочь и жениха, она сказала последнему:

— Вот вам ваша невеста. Если вы согласны взять за себя непокорную дочь, то сами отвечайте за то, что будет вперед. Только я предрекаю, что счастья вам не будет!

Как ни огорчительны были такие слова, однако все бросились обнимать Елисеевну, которая барахталась и отбивалась от этого нападения.

«Прегнусная история! — подумал Гацфельд. — Однако дело сделано! Надобно им пользоваться».

В непродолжительном времени было совершено бракосочетание подполковника Гацфельда с девицею Чураксиною, которая, кроме приданого, получила богатые подар-

ки от матери и от братьев.

При наступлении осени, Гацфельд подал в отставку. Все удивлялись этому и благоразумнейшие не видели никакой надобности в таком преждевременном оставлении службы. Гацфельд отвечал, что теперь есть у него *другие обязанности*.

С чрезвычайною боязнию наблюдал он состояние здоровья своей супруги; он бледнел и трепетал при каждой перемене... Он страшился того, что для другого было бы истинным земным блаженством. Если бы кто ему это заметил, он отвечал бы: я рад быть отцом — после. Но теперь у меня есть *другие обязанности*.

Через несколько месяцев после свадьбы, отставной полковник Гацфельд на обыкновенный вопрос: «Здорова ли ваша супруга?» стал отвечать с горестным видом: «Нет, ее здоровье очень плохо и беспрестанно расстраивается». Это подтверждали и медики. В этом уверял и Ульяну Гацфельд, которая не могла понять, каким образом она больна, когда чувствует себя совершенно здоровою. Но ей строго подтвердили, что она должна себя чувствовать нездоровою, и она принуждена была на то согласиться. Тогда ей присоветовали минеральные воды и теплый климат. Гацфельд объявил, что он, не откладывая времени, как только дождется весны, повезет жену в чужие края.

В ожидании этой поездки, он знакомился с известнейшими картежными игроками. Это перепугало всех Чураксиных. Но Гацфельд смеялся над их опасением и уверял, что ни за какие блага в мире он не поставит даже пяти рублей на карту. Он клялся в том. Но лучше всех уверений и клятв убеждало то, что он действительно не пускался в игру, и даже в бостон или в вист играл очень редко, *по маленькой*. Знакомился же он с теми картежными игроками, которые по своему ремеслу бывали в чужих краях, следовательно, коротко знают все теплые климаты и минеральные воды и могут подать на этот счет полезные советы. Вот и разрешение загадки! Но никто не замечал, что Гацфельд между прочими осведомлениями в подробности выведал, где есть большая азартная игра и, в особенности, где играют в банк

или в фараон, как угодно.

Уже напечатано было в газетах об отъезде в чужие края отставного полковника Гацфельда с супругою. Европеист Чураксин и Каролина Францевна хотели им сопутствовать, но Густав искусно от того отделался и убедил их остаться дома. К всеобщему удивлению, путь свой в теплый климат направил он не на Киев, как следует по географическому порядку, а на Петербург, где верные ломбардные билеты своей жены променял на банкирские векселя для получения всей суммы в чужих краях.

Когда он переехал за границу, сердце его сильно забилось и чувствовало какой-то страх... отчего бы? Близка давно желанная цель! спадет наконец с души тяжкое бремя!.. Но если все это обман? Если, с первого приступа... Если бы это случилось, Гацфельд заблаговременно решился застрелиться...

В одной из стран Западной Европы, на протяжении многих миль, за экипажем Гацфельда постоянно следовал другой с двумя пожилыми мужчинами, по-видимому, очень богатыми. Они ехали туда же, куда и русский путешественник, останавливались на тех же ночлегах и почтовых дворах. Знакомство свелось самым естественным образом. Незнакомцы должны пробыть несколько дней в одном большом городе. Они пригласили Гацфельда обождать их там, уверяя, что ему будет нескучно. Густав согласился. По приезде в город новые знакомцы спросили у него, не известен ли ему русский барин, который в Париже, в публичном банке, взял на две карты семьсот пятьдесят тысяч франков, и тем вынудил банк забастовать? С торжественным видом отвечал Гацфельд, что этот баловень счастья не другой кто, как он сам. Новые знакомцы поздравили его с равнодушным видом и сказали, что, если он пускается в такую боль-

шую игру, то здесь в городе есть один богатый человек, который охотно делает банку миллион франков наличными деньгами, не представляя в обеспечение какой-нибудь недвижимости, по примеру других частных игроков. Миллион наличными! Пожалуй! Гацфельд готов и здесь, чем ехать дальше.

В тот же вечер богатый игрок явился к нему. Это был человек лет шестидесяти, сухощавый, с настоящею игроцкою физиономиею: хладнокровною, неподвижною, с стиснутыми губами и с глазами, привыкшими устремляться долгое время на один предмет. На этом лице как бы написано было: «Выжига! Пройдоха! *Fin matois!*»* Это была настоящая вывеска, предостерегательная для неопытных. Но Гацфельду нечего бояться. С первых слов знакомства разговор зашел об игре. Богач, как видно, испытывал и извечивал счастливого антагониста. Но Густав выдержал испытание и сбил с толку искусного экзаменатора, налгав ему о частых проигрышах и об особенной сумме, независимой от прочего его достояния, которую он отложил для игры. Он был приглашен обедать на другой день.

Общество было немногочисленное, но оба путевые знакомца Гацфельда также были приглашены. Хозяина дома величали бароном. Судя по великолепному убранству дома и по роскошному столу, он был очень богат. Когда подали свечи, барон предложил Гацфельду двести тысяч банку. Гацфельд презрительно улыбнулся и объявил, что против такой малости не будет понтировать. Между тем, число присутствующих увеличивалось; легко, было заметить, что многие, и почти все, приходили в дом барона слишком без чиннов, как будто в трактир, и очевидно из любопытства. Это не ускользнуло от внимания Гацфельда; но он нимало тем не беспокоился и готов был доставить любопытным зрелище страшного картежного поединка. Барон вторично предложил игру, уже в полмиллиона. Гацфельд отказался и для решения всех недоумений объявил, что он ставит миллион на карту, не менее.

* Продувная бестия (*фр.*).

— Делать нечего! — сказал барон равнодушно. — Должно вас удовлетворить!

Он вышел в другую комнату и вскоре возвратился, держа в руках бумажник. До дюжины свеч были поставлены на большой стол, покрытый зеленым сукном. Подали карты. Барон уселся. Гацфельд стал против него. Вся беседа уставилась кругом стола.

Барон вынул из бумажника пучок банковых билетов.

— Пересчитайте! — сказал он Гарцфельду.

Гацфельд молча пересмотрел векселя.

— Ровно миллион, — сказал он и, вынув из кармана пучок билетов, пригласил барона их пересчитать.

— Точно так! — сказал барон с неизменною хладнокровною миною.

Билеты были положены посредине стола.

Барон распечатал колоду карт, Гацфельд тоже.

— В банк? — спросил барон.

— В банк.

Барон перетасовал карты и положил их перед Гацфельдом.

В эту минуту между зрителями послышался легкий стон, звук, выражающий неудовольствие, досаду или сильную боль и издающийся через нос, без растворения губ. Невольно все обернулись в ту сторону и увидели человека, поспешно выходящего. Банкомет пристально посмотрел ему вслед, потом устремил глаза на Гацфельда, придерживая колоду пальцами.

— Что же? — спросил Густав.

— Снимайте!

Он снял и, приислав в своей колоде карту, положил ее на грудку банковых билетов. Медленно прокинул банкомет. Фаскою легла восьмерка.

Барон открыл темную: фигура.

Густав хладнокровно придвинул к себе банковые билеты.

Банкомет пристально глядел на него. Легкий гул раздался в собрании. Дорожные знакомцы Гацфельда поспешно вышли. Гацфельд упрятал оба миллиона в свой бумажник.

Барон встал и с умильною улыбкою дал знак рукою Гац-

фельду, чтоб он шел за ним.

— Пожалуйте сюда, — сказал он, видя его нерешимость.

Густав подошел к нему. Барон вежливо показал ему на дверь и пошел с ним в другую комнату. Дверь осталась растворенною. Банкомет остановился в середине покоя.

— Вы выиграли наверное, — сказал он очень хладнокровно.

Гацфельд посмотрел на него сердито.

— Да! наверное! — продолжал барон. — Человек, который простонал в начале игры, вам знаком...

— Я никого не видал...

— Верю. Он поспешно скрылся. Это некто Шиц.

Гацфельд изумился и промолчал.

— Вы его знаете, или лучше, вы знаете его тайну. Признайтесь! Когда вы ставили карту, то призывали к себе на помощь привидение Карла Шестого.

— Я вас не понимаю...

— Очень понимаете. Без этой штуки вы не могли выиграть. Все карты были искусно перемечены и мною тщательно просмотрены. Я, как следует, выдернул первую карту из-под верхней, которая была мне очень известна. Но по неопостижимому случаю метка на ней стерлась, и моя передержка послужила в вашу же пользу. Этого не могло со мною случиться естественным образом. А замешавшееся тут сверхъестественное — мне очень знакомо! Я также начал картежную игру дьявольским секретом Шица.

Гацфельд молчал.

— Вы сознаётесь? — продолжал барон. — Не бойтесь ничего. Деньги ваши, и вы, верно, теперь их не пустите в игру. Вы взяли *третью карту*. По летам вашим, вам более играть нельзя. Ваши дорожные знакомцы суть агенты большого игрецкого общества. Они следили вас от самого Парижа и везли мне сюда семьсот тысяч общей суммы. Я уже письменно был предуведомлен. К этим деньгам я приложил триста тысяч своих, составлявших все мое состояние. Не думал я, что нападку на секрет Шица!.. Теперь я разорился... Не пугайтесь! Я не выпрашиваю от вас ничего. Владейте спокойно вашим приобретением: оно со временем само

вас накажет! Между тем, советую вам, не медля нимало, ехать на квартиру, послать за лошадьми и через час или через два уехать из города. Советую вам — для вашего же спокойствия. Угодно, я вас провожу?

Молча кивнул Гацфельд головою. Барон вывел его в гостиную, при всех вежливо с ним распростился и пожелал счастливого пути.

Через два часа, дорожный экипаж Гацфельда остановился по причине множества народа, толпившегося около дома барона. «Это что значит?» — спросил он. Ему не отвечали. На вторичный запрос, кто-то из толпы сказал, что квартирующий в этом доме картежный игрок барон Н. Н. застрелился.

— Пошел скорее! — закричал Гацфельд почтальону. — Поворачивай в другую улицу! Червонец тебе, два червонца, ежели скорее уедешь!

Флегматический почтальон встрепнулся, и лошади помчались. Через несколько дней Гацфельд уже сел на корабль, отплывавший из Любека в Петербург. Жена его поехала сухим путем.

«Каков же Гацфельд молодец!.. Недаром съездил в чужие края!.. Выиграл два миллиона!.. три!.. пять миллионов!.. Счастливец!..»

Вскоре и сам счастливец, предшествуемый такою завидною молвою, прибыл в многоглагольливую Москву. О, как важно он смотрит! Не так, как до отъезда, когда принужден был отказаться от лучшего общества, потому что стыдился показать в нем свою дражайшую половину. Теперь он сам не хуже всякого вельможи — миллионщик, капиталист! Покажем мы себя в Опекунском Совете, на аукционной продаже имений!

Однако, в ожидании такого торжества при продаже имений и по удовлетворении первого всеобщего любопытства, доставлявшего Гацфельду радушные встречи и частые посещения, важность его несколько поблекла. Богатство осталось при нем, и в общественном мнении даже почиталось втрое более настоящего; но где же уважение? где покорная толпа читателей богатства, поклонников золотого тельца? Где настоятельные приглашения и приветливость лучшего общества? Ничего этого лет!... — «Кто таков этот господин?» — «Это? Гацфельд, картежный игрок!» — «А! га!» Это «А! га!» произносится довольно презрительным тоном... Но разве Гацфельд продолжает картежную игру? В том-то и беда, что нет. Если бы он играл и давал другим средство выиграть, то никто не осмелился бы порицать такого благородного занятия. Но человек, наживший миллионы игрою и прижавшийся с ними так, что от него уже нельзя поживиться, — такой человек сам роняет свою репутацию. Пусть же ненавистное звание игрока остается при нем. Впрочем, его не чуждаются и обходятся с ним ласково и вежливо; но все это не то чаемое уважение, которое должно было его включить в число исполинов общества.

Однако, надобно подумать, как извлечь пользу из *благоприобретенных* миллионов. Разумеете, должно купить имение, и непременно с аукционного торга, потому что оно обойдется дешевле, хотя при такой дешевой покупке нередко сбывается пословица: дешево да гнило. Но где выбрать имение повыгоднее? Об этом должно посоветоваться. Добрые советы не задержали: отбоя не было от советников и предлагателей, таких беспристрастных, таких добросовестных, что каждый из них был похож на золотых дел мастера Жосса, о котором память сохранил Мольер для позднейшего потомства*. Нет, Гацфельда мудрено обмануть. Он решил, выбрал себе таких советников, которые умели бы исчислить ему все невыгоды имений различных концов России. И для этого, он приискал несколько бывших помещиков, которых имения проданы с аукционного торга. Эти

* Речь идет о персонаже комедии Мольера «Любовь-целительница».

не станут выхвалять такой товар, и пристрастия в них быть не может.

Тут воспоследовало особенного рода статистическое обозрение Российской империи. Гацфельд объявил желание купить богатую подмосковную, с обширным садом и великолепным каменным домом. За два миллиона можно достать такую тысячи в полторы душ, крестьян зажиточных, сметливых, развязных, промышленных и мастеров говорить. Они одеваются опрятно и даже щеголевато, живут в чистых избах; почти у каждого есть самовар и стенные часы. Приятно посмотреть на их быт! Весело с ними поговорить! Земли они не пашут, а занимаются промыслами, извозами, содержанием постоянных дворов, даже ресторанов в самой Москве. Оброк платят исправно. Но в таком имении бывают богаты не помещики, а крестьяне, и богаты не деньгами, а удобствами жизни, на которые тратят почти все свои доходы. Оброк же, платимый ими, не может превышать шести или семи процентов ценности самого имения. Мало!... Хорошо иметь подмосковную в недалеком расстоянии от столицы, небольшую, душ в двести и менее; в такой вотчине можно иметь свой огород, своих коров для домашнего обихода, а что всего важнее, можно без всякого обременения крестьян получать из нее сено и дрова — два предмета, довольно дорогие для жителей столицы. Но для миллионщика это не составляет никакой выгоды. Тысяча-другая экономии -- не стоит того, чтобы и говорить о ней.

Хороши очень имения на Волге, начиная от Рыбинска и до Нижнего. И берега Оки славятся такими вотчинами. Есть простонародная песня:

Ах ты, славное село Павловское,
Слобода графа Шереметева!

Недаром же сочинена. И подлинно, село Павловское стоит прославления беспристрастной простонародной поэзии. Только такие вотчины не продаются, особливо же с аукциона. Не пуститься ли далее по Волге, в степи симбирские и уфимские? Там — золотое дно. Земля как будто говорит: не

ленись только брать, а я не поленюсь давать. И подлинно, тысячи две десятин запашки — какое несметное количество хлеба это даст в урожайный год! А хлеб такой товар, который не выходит из употребления со времени переселения человека из земного рая. Хорошо! да та невыгода, что в эту страну отдаленную и довольно скучную для привыкшего к европейским утонченностям, — в эту полуазиатскую степь надобно ездить каждый год; иначе прилежная земля заленится... Далеко и скучно! Что же это за богатство, которое приобретается скукою и утомительными поездками?

Пожалуй, есть такая же щедрая земля поближе, в Орловской губернии, например, хоть в Елецком уезде, вблизи богатого торгового города, не в дальнем расстоянии от европейской образованности. Но там земля, как парча, продается едва ли не по вершкам, да и после приобретения требует присмотра и ухаживания... Слуга покорный! мы о том и хлопочем, чтоб нам ни за чем не присматривать!..

В Лифляндии поместья очень выгодны. В Лифляндии не растут ни пальмы, ни банановые деревья. Там что только дает плод, должно быть насаждено своими руками: на наемные плоха надежда! Худо посадят — ничего не будет. Климат тяжел. Там, не угодно ли тросточку в руки, картуз на голову, да самому пешочком в поле, с раннего утра, по крайней мере до завтрака. Вот весело!... Лифляндию мимо!

Неподалеку оттуда есть богатая, плодородная Жмудия. Там Рига и Либава закупают каждый колос еще на корню. Там тысяча арендаторов и корчмарей готовы избавить от скучного надзора за возделыванием земли. Деньги так и сыплются. Прекрасно! Только надобно вести беспрестанные переписки и расчеты с этими же арендаторами и корчмарями, что составляет прекрасную канцелярскую работу. А без этих предосторожностей, вместо доходов будут одни недоимки. И в Жмудии глаз помещика будет не лишний. А эта страна не ближе тысячи верст от каждой из столиц. Не годится!

А вот благословенный новороссийский кран, берег Черного моря с своими цветущими пристанями. Там Одесса роскошью и богатством соперничествует с обеими столицами;

есть в ней и отличная итальянская опера. Да в той же Одессе во множестве собираемая пшеница продается насчет зерна. Там земля как будто произращает червонцы. Да зато и ценится на полновесные червонцы. Там двухмиллионное поместье необширно. А если угодно взять невозделанные земли, заняться ими прилежно, обработать... Куда! куда! не надо, не надо! Это почти то же, что заводить колонию на вновь открытом острове: успеешь десять раз умереть от скуки прежде, нежели дождешься больших доходов.

Что за пропасть! куда ни оборотишься, везде требуют призора, прилежания, трудолюбия, то есть полной зависимости от своего поместья, в противность укоренившемуся между нами мнению, что богатый помещик самый независимый человек! Прежде так и бывало: в старые годы барин жил в изобилии и роскоши, не заботясь ни о чем, даже не посещая никогда своих вотчин; а переписка с ними и вовсе была не нужна, потому что не только управляющий и крестьяне, но и сам барин плохо знал грамоту. Куда все это делалось?

Такой вопрос задал Гацфельд Василью Петровичу Аглаеву.

— Все осталось по-прежнему, — отвечал Аглаев. — Только сущность богатства изменилась. В старину оно сваливалось в амбары; теперь укладывается в боковом кармане. Я это поясню. За пятьдесят лет, помещик двух тысяч душ брал с каждой ревизской души по пяти рублей; итого в год десять тысяч, которые, по нынешнему курсу, составят около сорока тысяч. Мало и теперь, мало было и тогда! Но этих денег было достаточно, ибо тогда главный доход с поместий составляли деревенские продукты, охотно свозимые крестьянами на барский двор, потому что им самим некуда было их девать. Таким образом, богатый барин содержал огромную прислугу и множество лошадей, которых прокормление ему ничего не стоило. Роскошь же его состояла в открытом столе: *кто хочет к нам пожаловать — изволь*; найдется чем угостить! Но что же за угощение? хлеб, пироги, каша из своей муки и крупы, жирные домашние птицы, откормленные в деревне. Куропатки, перепелки, рябчики,

тетерева, наловленные и настрелянные в собственных поместьях. Телята, поросята, свиньи, отпоенные своим молоком. Грибы, набранные в своих лесах; зелень, овощи, ягоды, фрукты из собственных огородов и садов, не требовавших искусного присмотра, потому что в то время кервель, портулак, артишоки, ренклоды, мирабели — едва ли по имени были известны. Соленье, копчение, варенья — все это делалось в деревне, просто, без лишних приправ: было бы жирно да сладко! (Не надобно забывать, что Аглаев — гастроном и великий знаток поваренного искусства). А теперь?.. Каков-то был званый обед? хороша ли провизия? А кто ее знает? и кто на это обращает внимание? Обед был славный, потому что каждое кушанье, даже суп (суп!) были кстати и некстати приправлены французскими трюфелями, да была подана стерлядь, вкусом не лучше карася или плотицы, только ценою в триста рублей за аршинную длину. Да что обед! Вина, десерт — вот главное! Шато-Латур, Гобарсак, Монроше, Кло-де Вужо, Аи, Силери — хоть облейся. А на закуску перед обедом подавали устриц, сыры лимбургский, брийский и честерский, нантские сардины — всего не перечтешь! А все это, любезнейший Густав Федорович, начиная от трюфелей и до сардин, на нашей почве не родится, в Москве-реке и в Пресненских прудах не ловится. Все это выписывается из-за моря, да из самого моря, и за все платится наличными денежками. Следовательно, роскошь нынешняя требует денег, и богатство нынешнее состоит в одних деньгах. Следовательно, помещику нужны не деревенские запасы, а денежные доходы, которые добываются только торговлею, так что каждый помещик — земледелец он, заводчик или фабрикант — по необходимости быть должен и купец, то есть должен уметь и собрать и продать свой товар лицом. А такие дела не обделываются сложа руки и чужим умом. Тут должно приложить свой.

Гацфельд вздохнул.

— Стало быть, — сказал он, — житье русского помещика не так привольно, как я воображал, или даже, как очень многие думают до сих пор.

— Да! — отвечал Аглаев, также вздохнувши. — Если при-
волье состоит в том, чтобы ничего не делать, то для рус-
ских помещиков прошло золотое время! Надобно учиться
и трудиться. А если вы хотите избавиться от этой тягости,
то довольствуйтесь процентами вашего капитала.

— По пяти процентов ! Да и те еще грозят сбавить.

— И сбавят непременно, что будет очень справедливо.
Зачем лежать капиталам без дела? они должны быть в обо-
роте, в... Если вы хотите последовать доброму совету, я вам
укажу прекрасное средство получать большие проценты без
всяких хлопот.

— Например?

— Возьмите акции на дилижансы, на страховое общест-
во... Что вы так на меня смотрите? Несмелость, предубеж-
дение, упрямство, любезный Густав Федорович! Пользуй-
тесь именно этою несмелостью, этим предубеждением, по-
ка они еще в силе и препятствуют другим приниматься за
полезное. Пройдут года два-три, и акции возвысятся. Тог-
да все захотят их иметь, но уже поздно будет. Рискуйте! Ведь
вы рисковали в карты все ваше достояние...

— Да, хорошо!..

Гацфельд не договорил, однако попробовал взять акции.
Удостоверясь в их выгоде и не имея возможности достать
более, он сделался участником во многих предприятиях фаб-
рик и прядилен. Но участие это ограничивалось тем, что
он давал на подобные заведения суммы под верные залоги
и за большие проценты. Неприметным образом он сделал-
ся ростовщиком, а на ростовщика смотрят в обществе по-
чти так же, как на палача. Но что ж делать? Это одно толь-
ко предубеждение, упрямство!

Гацфельд показывал свой загородный дом заезжему в
Москву корпусному товарищу, военному на всю жизнь, че-

ловеку небогатому, но довольно образованному для того, чтобы уметь наслаждаться хорошим. Показывал он ему небольшой английский сад, которого содержание в чистоте стоило доходов порядочной вотчины; водил он его по затейливым комнатам, где во всех окнах были вставлены цельные стекла, паркеты до половины покрыты богатыми коврами, стены увешаны картинами в эстампами дорогой цены; мебель покрыта шелковою материею; во всех углах бронза и фарфор; двери из разноцветных стекол, а балконы и крыльца уставлены ящиками и горшками с самими редкими цветами; словом, это не дом, а игрушка, галантерейная вещица, о которой по справедливости можно было повторить сказанное одним знатным иностранцем о раззолоченном царскосельском дворце: «Где же футляр на эту драгоценность?»

Корпусный товарищ этого не спросил, но, расхаживая по щеголеватым покоем, озирался во все стороны, как будто чего отыскивая. Гацфельд это заметил.

— Я смотрю, — сказал товарищ, — не найдется ли уголка и стула, где я мог бы присесть без опасения испортить какую-нибудь драгоценность.

Густав усмехнулся.

— Пойдем во флигель, — сказал он, — там тебе будет спокойно.

— А! вот это так! это по-военному и по-деревенски. Здесь на диване я улягусь с ногами, и без церемонии закурю трубку: здесь нечему закоптеть от дыма. А там, в этой блестящей безделке, ты, я думаю, обязан исправлять должность коменданта крепости: сидеть взаперти и на страже от нападения дождя, пыли и мух! да на зиму, если не завертываешь в хлопчатую бумагу, то, верно, окутываешь войлоками эти прозрачные, полувоздушные чертоги! Ну, тебе ли, мужчине, бывшему воину, жить в такой деликатной клетке? Это годится для дамы. Прелестное, милое, любезное, ловкое существо, которого и разговор и мысли и одежда, все какое-то нежное, прозрачное, эфирное или зефирное, не знаю, — такому существу прилично жить в хрустальных стенах, среди цветов и благоуханий, и нежными ножками

попирать драгоценные ткани; красавица, как божество, должна быть издали обожаема и для нашего брата недоступна. Все эти деликатные, ломкие игрушки, ее окружающие — это ее защита, ее твердыня, ее крепостной вал. Дерзкая рука не смеет к ним прикоснуться... Да что я говорю? Ведь ты женат. У тебя есть очаровательница для этого волшебного чертога!

Гацфельд удержал тяжелый вздох.

Очаровательница для этого чертога, подлинно щегольского, отделанного со вкусом и великолепием! В том-то и горе нашего Густава, что чертог есть, да волшебницы для него нет! Стоит он, как тело без души!.. Хорошо, добрый товарищ, что ты заехал сюда на короткое время и в такую пору, когда предполагаемая тобою очаровательница уехала верст за пятьсот. Если бы ты на нее взглянул, если бы провел с нею полчаса, то сказал бы, что и сумасшедший не истратит ста тысяч на сооружение ей чертогов. Не мужу открывать тебе домашнюю беду! А если бы ты видел... О, как пожалел бы ты о бедном супруге!

Ульяна Гацфельд или фон Гацфельд, урожденная Чураксина — глупа, как говорится, глупа из рук вон; и эта глупость, которая обнаруживается каждую минуту, на каждом шагу, в каждом поступке, в каждом слове, в каждом движении, даже в самой одежде, потому что Ульяна не умеет порядочно нарядиться, — эта глупость как будто четкими буквами напечаталась на ее физиономии. Эта Ульяна для Гацфельда непрерывное наказание, тяжкий нравственный недуг, и — как он уже давно сознался — клеймо отвержения, потому что не столько репутация картежного игрока и ростовщика, сколько *непрезентабельность* дорогой супруги навсегда удалили его из хорошего общества. По крайней мере, он твердо в этом уверен. Да и нельзя не быть уверенным: ее чуждаются даже родные, которые и по кровным узам, и по непринадлежности к разборчивому сословию могли бы быть снисходительны к ее нравственной и физической уродливости.

Хотя никто ею не соблазняется, однако она выбрала себе двух платонических селадонов, которые, очевидно в ожи-

дании денежной поживы, любезничают с нею по-своему. И что же это за селадоны? Один — сорокалетний армейский майор Луковка, другой — в противоположном роде, недавно произведенный в четырнадцатый класс — Любчиков.

Никому Густав не рассказывает про свою горе, потому что такой рассказ возбудит не сожаление, а смех; правда, оно и смешно — только не для него.

Но кто же мешает ему поставить себя в такое положение, чтобы это неизбежное горе сделалось и для него смешным? кто препятствует ему искать развлечений, способных вооружить самую веселую философию? Да какие это развлечения? Денежные обороты, постройки, покупки, поездки — все это уже наскучило и более не развлекает. Роскошный стол — приелся, произведения искусств — пригляделись; желаний почти нет никаких, потому что все легко удовлетворяется с помощью денег; веселости... где они? и какие веселости могут его веселить? он всего вдоволь испытал, всего, кроме родительского счастья, которого лишен по милости той же Ульяны. А он чувствует, и очень чувствует, что грустно, тягостно жить без привязанности к какому бы то ни было существу!.. Вот развлечение, которое могло бы утешить; но где его сыскать?...

Предаваясь таким грустным мыслям, Гацфельд домыслился и до прошедшего. Он вспомнил, что когда-то и он был любим, — и, может быть, был бы любим до сих пор; и очень достоверно, что эта любовь не наскучила бы ему так скоро, как все наслаждения, доставляемые богатством; и легко может стать, что эта любовь, так безумно им отверженная, такую неблагодарностью отплаченная (в этом он уже сознается), что эта любовь еще сохранилась, что она ожидает его возвращения... Нет, мечта! одна мечта!... По возвращении из чужих краев он осведомился о бедной Анеле, которой намерен был послать богатый подарок, и его уведомили, что она, по смерти дяди и тетки, уехала за границу с одною польскою княгиней, которой имени ему не сказали. За границу! Вероятно, в Варшаву, где благотворительная покровительница выдала ее замуж за какого-нибудь мелкого чиновника или даже за порядочного ремесленника. Если

так, то она, конечно, не забыла Гацфельда, но вспоминает о нем не с романтической любовью, а с ненавистью и справедливым негодованием.

По крайней мере, были бы друзья. Да, друзья! у кого много денег, тому очень мудрено иметь друзей — это дознано: Были бы хоть короткие приятели — но и те невозможны в его положении. Человек, который по супружеским связям, по ремеслу капиталиста-процентщика и по репутации картежного игрока, более не играющего в карты, обязан удаляться от общества — чем может такой человек приманивать к себе приятелей, поддерживать короткое знакомство?

Впрочем, есть один, верный — хорошим обедам. Это Василий Петрович Аглаев. Ему однажды высказал Гацфельд все свое горе, он же кстати был и причиною такого несносного супружества. Спокойно выслушал Аглаев скорбное признание и с легким вздохом сказал:

— Да! вы правы. Жизнь одинокая довольно тягостна. Но тесная, неразрывная и между тем бездушная связь — хуже всякого одиночества! Впрочем, на ваш нравственный недуг есть и лекарство. Влюбитесь, Густав Федорович, найдите какое-нибудь хорошенькое личина или, что еще лучше, умную, образованную женщину, с которою приятно проводить время. Не простирайте далеко ваших требований, а довольствуйтесь позволительным волокитством, частыми посещениями, угождениями, видимым предпочтением и, наконец, уверением в чистейшей любви. Это вас займет...

На этот совет вскоре представился случай. Между московскими красотоми появились два новые светила. Одна — молодая княгиня Н., урожденная польская графиня, сделавшаяся теперь знатною московскою дамою, от рода с небольшим двадцать лет, роста среднего, и скорее худощава, нежели полна; в чертах лица — нет никакой правильности, даже так, что каждая часть ее физиономии, взятая отдельно, не выдержит и самой снисходительной критики; но все вместе составляет что-то такое живое, такое выразительное, одушевленное, замысловатое, игривое, прелестное, что самая завистливая критика должна молчать. Вдобавок к тому, в обращении кокетство и любезность варшавянки, в тесной свя-

зи с ловкостью и утонченностью самой образованной парижанки, потому что молодая княгиня жила несколько лет в Париже. По приезде в Москву она воспользовалась правами своего пола и составила себе целый двор вздыхателей... безнадежных, потому что она очень любит и страстно любит своим мужем. Она всегда бывает вместе, почти неразлучно, с другим светилом красоты, с своею приятельницею и компаньонкою, также полькою, дамою или девицею, неизвестно — только уже не так молодую, лет тридцати с лишком. Но что за красота! Высокого роста, полна, даже несколько толста, ослепительной белизны, румянец — как вечерняя заря. В чертах лица и во всех приемах какая-то важность и степенность. Если прелести княгини требуют любви, доходящей до безумия, то красота ее подруги как будто повелевает почтительное обожание. Если бы кто сказал, указывая на обеих красавиц, «это княгиня Н. с своею компаньонкою» — то каждый счел бы старшую за княгиню, а молоденькую за компаньонку. Контраст! но контраст совсем не в пользу знатной красавицы, и тем более, что высокое звание и нежно любимый супруг делают ее слишком недоступною для обожателей, между тем, как положение другой вселяет отважность. Естественным образом, поклонник красоты с почтением отступит от генеральши и княгини, урожденной графини, и обратит свои помышления и надежды к той, которая называется просто: Ангелика Антоновна Гулевич.

Так это она? Откуда взялась? из Парижа, из Варшавы, куда была завезена матерью княгини, богатой польской графиней (а не княгинею, как ошибкою писали к Гацфельду)? Она! только не прежняя, простенькая панна Анеля. Теперь умная, начитанная, образованная приятельница и подруга знатной дамы, прожившая несколько лет в самом блестящем кругу двух столиц, ознакомившаяся с произведениями ума, утонченного вкуса и... со всеми тайнами дамского туалета, поддерживающими и возвышающими природную красоту. Ангелика Антоновна воспользовалась всем и может смело сказать, что недаром была в Париже. Скажет ли теперь она, как прежде: «Мой возлюбленный! будь только ты счастлив и

позволь мне тебя любить — я буду и тем довольна?» Может быть, и скажет, только, верно, другим тоном и в других обстоятельствах.

Гацфельд вспомнил эти слова, некогда выслушанные им довольно равнодушно, вспомнил, когда увидел прелестную женщину, которая могла назваться красою блестящего общества обширной столицы. Теперь он отдал бы полжизни за то, чтобы опять услышать эти обворожительные слова, теперь он принял бы их с другим чувством... Тогда он был молод, легкомыслен, и не знал цены такому сокровищу или, лучше сказать, бедная Анеля на украинском фольварке была не сокровище, и ее пламенная любовь не могла цениться дорого; теперь... А почему же теперь не услышать вторения тех же страстных уверений? может быть, эта любовь еще не угасла, может быть, она таится под пеплом и легко воспламенится... По крайней мере, сам он чувствует, что его прежняя страсть возродилась с большею силою. Надобно попытаться.

При первом удобном случае, он подошел к Ангелике, как старинный знакомец. Она не смутилась и не притворилась не узнавшею его; она отвечала ему вежливо и равнодушно, однако без лишней холодности. Он осмелился сказать, что желал бы видеть ее наедине; она поглядела на него выразительно и несколько строго и, не удостоив ответа, продолжала разговор о посторонних предметах. Это ясно доказывало, что она требует забвения того, что не может быть забыто. Итак, говорить с нею нельзя и не должно. Густав решился возбудить ее воспоминания другими средствами.

Был назначен бал у князя Рамирского, на который получила приглашение Ангелика. Гацфельд также назвался с помощью князя Лиодорова. Он подкупил музыкантов и заставил их выучить мазурку, которая в прежнее время очень нравилась Анеле и часто игралась на фортепьяно в сопровождении скрипки Густава. Эту мазурку должны были музыканты заиграть на бале по его знаку. Как только была приглашена Ангелика на этот танец, сигнал был подан и раздались звуки простой, но тем более прелестной мазурки,

еще незнакомой московским танцовщицам. Все восхитились приятною мелодиею, и заметно было, что Ангелика с удовольствием слушает этот напев. Три пары протанцевали; в четвертой была Ангелика, отличавшаяся от прочих дам ростом и дородностью. Когда пришла ее очередь, она приняла важный вид, потупила глаза и начала скользить по паркету, выказывая прелестную ножку — вот что называется, по старинному выражению, как лебедь плывет. Какая грациозная и величественная поступь! и когда кавалер перекинул ее на другую сторону, она повернулась медленно и ловко, без насильственной легкости и не тяжело; заметно было, что она искусно рассчитывала меру движения, приличного ее фигуре и летам. Это тем более пленяло, что другие дамы танцевали резво и игриво... Густав был вне себя. Он не сводил глаз с очаровательной танцовщицы и забыл об ожидаемом действии давно знакомой музыки. Голова, сердце, душа, все бытие его было занято тою мыслию, что красавица, предмет удивления всего блестящего бального круга — эта богиня красоты, как ее называли все окружавшие его — некогда, с пламенной любовью прижимаясь к его груди, без всякого обмана и преувеличения уверяла, что она готова быть его служанкою... О, эта мысль производила в нем какое-то непостижимое сладостное мучение, как живое воспоминание о блаженстве потерянного рая...

Танцы кончились, и утомленная Ангелика села. Лицо ее было покрыто живым румянцем, полная грудь подымалась от тяжелого дыхания. С очаровательною улыбкою отвечала она кавалерам, беспрестанно к ней подходившим с комплиментами. Подошел и Гацфельд; но, вместо приветствия, он спросил, помнит ли она *эту мазурку?*

— Мазурку? танец?

— Нет, музыку.

— Да!... кажется... старинная музыка, а впрочем, прекрасная...

И это было сказано с тою же очаровательною улыбкою, не выражавшею ничего более, кроме желания показать отличные зубы!... Неудача!

Безумный! взглядишь хорошенько в эту особу, которая

блистает уже последним цветом красоты, возбуждающим более почтительного удивления, нежели пылкой любви. Рассмотрим хорошенько эту важную, степенную физиономию, эту утонченность туалета, свидетельствующую уже не о желании нравиться и пленять, а только о привычке быть прекрасною и о необходимости поддерживать близкие к упадку прелести. Посмотри на это искусно отделанное платье, на замысловатую прическу, над которою, верно, более часа трудился отличный артист этого дела; на бриллиантовые серьги, пышную принадлежность особ высшего круга; прислушайся к этим разговорам, доказывающим навык в обращении блестящего общества, — и суди сам, есть ли тут что похожее на ту, которая соглашалась быть твоею служанкою? Согласится ли эта иметь тебя своим слугою? так кажется! Но кто знает, что кроется под пышною, величественною наружностью? Надевает ли женское сердце бриллиантовые серьги?

Три дня Гацфельд был как сумасшедший. Он не знал, что с ним делается, что его тревожит, к чему стремится его душа, что должен он предпринять. Влюблен ли он? Может быть; только эта любовь похожа на какое-то бешенство, на нетерпение в высшей степени и даже на нервическое страдание. Его мучит не столько любовь, сколько воспоминание прошедшего; желает он не внимания к его чувствам, не обнадеживания, которое едва ли не лучше самого обладания, ни даже изъявления той первой взаимности, которая составляет высшее блаженство любви. Нет, он хочет *прежнего*, без исключения, вполне. Он требует возобновления того, что было, хотя бы на одну минуту, хотя бы в повторении одного из тех нежных уверений, которых он слышал тысячи, и которые тысячами пропускал мимо ушей. Но... чтобы такое повторение было сделано не в угодность ему, а чтобы оно, как прежде, выходило прямо из сердца, по невольному влечению, без приказанья, без требования... О, это — безумие, это — горячка, это — неистовство! это — хуже ревности, хуже безнадёжности... это ад.

Все его намерения отзывались таким мучительным положением. Он ни на что не мог решиться, ничто ему не го-

дилось. То хотел он выкинуть из головы эти мысли, то хотел он вооружиться терпением и ожидать — но чего ожидать? Благоприятного случая? какого? Возрождения этой желаемой любви? Но она должна не возродиться, она должна быть теперь, в эту минуту, она не должна была прекращаться. Возрожденная будет только тень прежней. И между тем, где взять терпения, когда каждое биение сердца есть мучительный удар... То намеревался он вступить с Анелею в переговоры и предложить ей... нет, не предложить, а дать ей миллион, и, взамен этого сокровища, потребовать подтверждения его прежних прав. Это, по-видимому, вернее всего: миллион легко соблазнит, и за такую сумму можно согласиться сказать все, что угодно. Да, сказать, только сказать, и то за миллион... Тогда не было ни миллиона, ни даже тысячи, а говорилось то, что чувствовалось!...

Однако надобно объясниться; надобно узнать, услышать что-нибудь. Он написал к Анеле письмо такого содержания, что, по приезде ее в Москву, он должен был удалиться отсюда, должен был даже исчезнуть с лица земли; что на последнее он почти решается, но что прежде ему необходимо с нею объясниться, что от этого объяснения зависит его жизнь. Он получил ответ: «Я не поняла вашего письма. Почему мой приезд в Москву обязывает вас удалиться из города и даже исчезнуть с лица земли, как вы говорите? И какого объяснения вы требуете? Впрочем, если дело идет о вашей жизни, я готова принять вас завтра, в двенадцать часов: до часа я буду одна». Как холодно! как жестоко! Но между тем, ему дан час, целый час на объяснение. За этот час, Гацфельд готов отдать десять жизней — так говорится в подобных обстоятельствах.

И вот наступил ожидаемый час, из которого не должно потерять ни секунды, ни терции, ниже дециллионной доли. Ангелика приняла его в гостиной. Ни княгини, ни князя нет дома. По ее приглашению, Гацфельд сел, не говоря ни слова и не поднимал глаз. Ангелика также молчала. Из драгоценного часа было уже утрачено несколько минут...

— Чего же вам угодно? — ласково спросила красавица.

Гацфельд тяжело вздохнул:

— Я перед вами так виноват...

Лучше этого он ничего не придумал.

— Я вам все простила, — спокойно отвечала Ангелика, — и если только об этом вы хотели объясниться, то труд ваш был напрасен...

— Ваше прощение не уничтожает ни моей вины, ни моего мучения, которое я заслужил бесспорно. Однако... может быть... в вашем сердце найдется что-нибудь, кроме великодушия...

— Что?

— Например... сострадание!

— Я его всегда имею к несчастью ближнего...

— Ко мне! ко мне!

— И к вам, если вы несчастливы.

— Это сострадание... не возбуждает ли в вас которого-нибудь из прежних чувств...?

Ангелика строго на него посмотрела.

— Что вы хотите сказать?

— Вы меня любили; я был для вас все! Неужели из всего этого не осталось ничего?

— Вы во зло употребляете мою снисходительность. Такое-то объяснение...

— Такое, а не другое! Что я был для вас в то время, теперь вы то для меня. Я страдалец, я мученик, я сумасшедший... В моем положении не знают ни вежливости, ни деликатности, ни приличий... Я вам не чужой... Я имел у вас тысячи прав, из которых неоспоримо осталось одно — открыть вам ад моей души и в отчаянии молить: «Ангелика, будь опять моею!..»

— Как? Вы овдовели?..

Гацфельд застонал и закрыл глаза рукою: ему показалось, что перед ним ненавистная Чураксина, безобразная, сухощавая, выказывает в глупой улыбке свои черные зубы и говорит: «Какая тебе Анеля! теперь я твоя, и ты мой!..» Ужасное привидение!

— Стыдитесь, сударь! — продолжала безжалостная Ангелика. — Вы однажды нарушили ваш долг: это я могла вам простить. Теперь вы хотите попать священнейший союз!..

о, вы не найдете во мне участницы такого злодеяния! Если вы этого надеялись — надежда ваша бесцельна и оскорбляет меня.

— Ангелика! Я надеялся найти остаток прежней любви!

— Которую вы сами отвергнули, сами задушили, сами убили вашим равнодушием, вашим презрением? И теперь хотите ее оживить! К чему? И возможно ли это? Да, я вас любила, но в вашей воле, в вашей обязанности было сделать эту страсть законною, упрочить ее священными узами, превратить ее в любовь почтительную и почтения достойную... Вы сами этого не хотели; а теперь предъявляете свои права на это постыдное чувство, на эту сердечную болезнь, которую, по вашему мнению, я должна была сохранить!.. Нет, Провидение сжалилось надо мною. Раскаяние, размышление, точное познание моих обязанностей нацелили меня совершенно. Ничего прежнего не осталось в душе моей, и, благодаря Бога, это прежнее не заменилось ни ненавистью, ни досадою, ни даже естественным сознанием моего оскорбления. Все прежнее я вам простила, даже чистосердечно, как чистосердечно вас любила. Будьте довольны этим, и не осмеливайтесь вторично оскорблять меня... Теперь, надеюсь, конец нашим объяснениям!..

Ангелика позвонила и велела позвать какую-то Матрону Карповну, с которою стала сговариваться ехать в магазин.

При мучительном существовании Гацфельда, дом, жена и все Чураксыны еще более ему опротивели. Их присутствие растравляло его душевную болезнь. Добрые, честные и для своего быта очень ученые братья Африкан и Северьян давно уже замечали отчуждение своего зятя, и приписывали это гордости, за которую никак не считали себя обязанными платить поклонами и уважением. По их справедливому суждению, человек, который втерся к ним в родню, обогатился на приданое их сестры и за все это их же удостаивает своего презрения — такой человек заслуживает название низкого и неблагодарного и гордость его только увеличивает эти гнусные свойства. Они сами стали чуждаться Гацфельда; попеняли друг другу за свою поспеш-

ность и неосмотрительность, сознались во взаимной ошибке и решили, что у кого в их сословии есть богатая сестра или дочь, тот должен искать ей женихов между умными и дельными людьми своего звания, а если уже неизбежно выдать ее за дворянина, то должно выбирать добродушного и глупого: такой, по крайней мере, не загордится! Это решение казалось им справедливым и основанным на опыте. Что же касается до Ульяны, то она по глупости своей не понимала презрения мужа и не слишком огорчалась его холодностью. Ухаживания майора Луковки и четырнадцатого класса Любчикова в ее мнении были выше любви утрюмого и надменного супруга. Она даже радовалась тому, что Гацфельд видимо бегаёт из своего дома и проводит время не в обществе, а в театрах, в клубе, на гуляньях и даже в трактирах.

В августе 1830, Густав зашел в театр. Спектакль еще не начинался. Он задумчиво уселся в креслах, между тем как окружающие зрители стояли, поглядывали на ложи и разговаривали. Вошли две дамы в бенуар и многие лорнеты обратились в их сторону. Это были княгиня и Ангелика, все еще составлявшие предмет общего удивления. Гацфельд уже не обращал внимания на такие разговоры. Однако в этот раз болтовня не пролетела мимо его ушей. Об Ангелике сказали, что она посвятила себя благотворительности, навещает больных, отыскивает сирот, плачет вместе со вдовами и тому подобное, — словом, что она избрала благую часть.

— Не думаю, — заметил какой-то франт из разговаривающих, — если бы она была стара и безобразна — благотворительность была бы ей совершенно к лицу. А теперь, утешая вдов и сирот, она мучит других и дразнит своею красотою, которая очень скоро увянет без всякой пользы! И никто не обладал этими прелестями!

О, это было ужасное слово для Густава! Никто не обладал!... Не похвастаться ли ему обладанием?! Не рассказать ли, сколько блаженства оно ему доставило? Он не мог усидеть в театре и пошел в Кремлевский сад. Уже смеркалось; вечер был тихий и ясный. Множество блестящих мошек

вилось в воздухе. Гацфельд сел на скамье, где уже сидели купец или мещанин в русском платье и персиянин или армянин.

— Что за диковина! — говорил русский, обмахиваясь платком от мошек, — откуда взялась их такая пропасть?

— В наших странах, — сказал азиатец, — они часто появляются, и всегда перед чумою или перед другою повальною болезнью.

— Чего доброго! Может быть, и у нас недаром появились!

— О, здесь чумы нечего бояться!

— Однако на низу оказалась какая-то болезнь холера, которая, говорят, хуже всякой чумы...

Эти слова поразили Густава. Холера! Да, точно! как новый Аттила подвигается она с востока! Не поехать ли ему туда, в низовые губернии, в самый пыл опасности? Не найдет ли он там конца мучительному бытию? Он вскочил со скамьи, быстро повернул в сторону и на третьем шагу столкнулся с Шицем.

«Не нужно ехать в Саратов за холерою: она сама меня отыщет!»

Эта мысль мелькнула в нем при виде таинственного жидка, который остановился и как будто всматривался в него.

— Это вы? — сказал ему Гацфельд.

— Слуга покорный! — отвечал Шиц. — Если не ошибаюсь, я встречаюсь с вами в четвертый раз в жизни.

— Смерть или холеру предвещает мне эта встреча?

— Как так?

Густав взял его за руку. Они отошли в сторону и сели.

— Что же? — сказал Гацфельд. — Не ожидает ли меня участь графини дю Барри?

— А! вы опять за старую сказку...

— Быль не быль, а может быть, и не сказка! Будьте откровенны, Иван Адамович. Скажите, что мне предстоит.

— Разве я угадчик?

— Вы довольно верно предсказываете. По крайней мере, то, что вы мне предвещали, сбылось отчасти.

— Сбылось?

— Да; ваш секрет был для меня гибелен! Он расстроил

все счастье моей жизни.

— А! если так, то не отчасти, а вполне сбылось мое предсказание.

— Вы об этом говорите, как о предсказании дурной погоды!... Не вполне, милостивый государь! По вашему уверению, я должен был сделаться бездельником, преступником, злодеем... не знаю, чем еще! Кажется, ничего такого не сбылось.

— Кажется? Полно, так ли, на самом деле?

— Вот еще новости! Постарайтесь доказать, что я заслужил виселицу.

— Ну, этого я не предсказывал, и вообще нельзя сказать, чтобы вы подвергались строгости гражданских законов. Но разве подлежат суду по пунктам уголовного уложения преступления против совести и долга, которые не наказываются человеками? А ежели вы признаетесь, что есть такие преступления, то сознайтесь в том, что вам с этой стороны ничего не остается делать ни более, ни хуже!

— Не слишком ли строго, господин Шиц?

— Нимало! разберите сами... Но я забыл, что вы хотели говорить со мною, а не слушать меня...

— Продолжайте смело. Может быть, это самое мне и нужно. Начисляйте мои преступления, но только те, в которые вовлек меня ваш секрет.

— Слушайте. Когда вы меня вынуждали открыть вам непозволительное средство обогатиться — вы уверяли, что делаете это из любопытства и не из корыстолюбия, а по необходимости загладить вашу вину перед несчастною девушкою...

— Но... я был увлечен обстоятельствами...

— Пусть и так будет!.. После вы женились. Это дело очень обыкновенное. Но как оно состоялось? Вы воспользовались вторично легкомыслием молодой девушки, излишнею доверчивостью и добродушием ее родных, даже их предрассудками и ошибочными понятиями, насчет которых вам, дворянину, человеку образованному, следовало бы их же образумить. Этого мало. Вы исторгнули у оскорбленной матери насильственное согласие, которое громко вопиет против вас

перед Богом и перед людьми, — согласие, которое должно собрать жгучее уголье на вашу голову... Вы связали себя священнойшими узами с женщиною, которой вы любить не можете и не могли, которую вы впоследствии покинули, обрекли на жалкую участь презренной супруги, — и все это для того, чтобы получить несколько сот тысяч на карточную игру... Судите сами, чем это разнится от воровства? Что? и тут вы были увлечены обстоятельствами?

— Не иначе!

— Посмотрим далее. Я был свидетелем, как вы взяли последний или предпоследний ваш миллион на третью карту. Равнодушно положили вы его в свой карман. И чего было вам жалеть этих бездельников!.. Но вы были причиною самоубийства. Оно, конечно, было достойным воздаянием преступнику, грабителю; но вы тут были орудием его казни, вы играли гнусную роль палача. Правда, это случилось без вашей воли и было последствием тех же обстоятельств, на которые вы упираетесь. Скажу более: вас увлекла судьба, рок! Как новый Эдип, можете вы воскликнуть: «*Un dieu plus fort que moi m'entraînait vers le crime*»*. Но знаете ли, в чем состояла эта непреодолимая сила? в одной мысли, которой вы предались добровольно, которая овладела вами и не могла не овладеть, которая управляла всеми вашими деяниями и приготовляла неизбежные обстоятельства: недаром я умолял вас отказаться от безумного требования!..

— Что же? прибавьте: «Все сбылось, как я предсказывал!». Торжествуйте, Иван Адамович!

— Торжествовать? О, если на то дело пошло, то я довершу мое торжество. Я начислил важнейшие ваши проступки; не оставляю без замечания и других. Вы хотели сделаться богатым, но не разочли, что богатством надобно уметь пользоваться, а всякое умение предполагает науку. Обыкновенно говорят: были бы деньги, найдем, что с ними делать! Вот они и есть у вас, эти деньги — что вы с ними сделали? что на них купили? Не говорю, какие вещи, а — какие наслаждения, какие удовольствия? ничего, кроме скуки и пре-

* Божество, что сильнее меня, вело меня к преступлению (*фр.*).

сыщения! А чем вы торжествовали за эти деньги? Вы оставили службу, которая шла для вас успешно: вы были отличены, награждены; последующие награды и отличия только ожидали вашего усердия. Посвятив всю молодость на короткое знакомство с обязанностями службы, на приучение себя к деятельности и соображению, вы ныне, в ваши зрелые лета, были бы чиновником, достойным доверенности правительства и способным занимать должности почетные и полезные для общества. Теперь ничего такого нет, и уже быть не может. Как человек образованный, получивший прочные первоначальные понятия о науках, вы могли с успехом шествовать по этому благородному поприщу. И в какую эпоху! Именно в ту, когда науки с каждым днем начали очищаться от прежних лжеумствований и заблуждений, и, появляясь одна за другою в полном блеске, как светила небесные, имеют целью уже не ослепление, не преступное и безумное удовлетворение гордости, а пользу рода человеческого, настоящее достижение их благородного предназначения. Сколько живейших наслаждений, сколько чистейших радостей доставили бы вам такие занятия! Повторяю еще раз: вы к ним были приготовлены, все пути были вам открыты; стоило только идти. Удобство, за которое другой отдал бы все свое достояние!.. Но вы этим пренебрегли так же, как и всем другим, что только могло усладить вашу жизнь. Вы всем пожертвовали, все отдали.. Правда, было за что отдать: миллионы! Великое дело миллионы!

— Сатанинская насмешка!

— Скажите лучше: сатанинское искушение получить миллионы даром. Подлинно, только враг человеческий мог внушить такую мысль!... Как будто дорогое может достаться за дешевую цену! Если не до приобретения, то после — оно непременно будет стоить дорого. Это самый верный и самый простой расчет, которого мы не хотим видеть. Если бы даже эти миллионы, без ваших стараний, без непозволительных средств достались вам даром, по какому-нибудь случаю, хоть например, по неожиданному наследству — и тогда вам надлежало бы принимать их с трепетом, потому что эти даровые миллионы рублей приносят с собою мил-

лионы искушений, а это опаснее всего. Нам не повелено молить Бога о непредании нас бедствиям, болезням, нищете, скорбным потерям — хотя, впрочем, очень естественно желать избавления от таких зол, — нет, нам сказано, чтобы мы молили о непредании нас искушению, которое, может быть, скорее приходит в благосостоянии, нежели в несчастьи. С бедствиями жизни можно справляться, и кто их не испытал, кто их не переносил с большим или меньшим терпением? Кто не преодолевал их с большею или меньшею твердостью духа? Но искушение, даже и в земном раю, даже и в состоянии непорочности, при полной силе разума, ничем не омраченного, при беспрепятственном стремлении воли человека к добру — искушение было причиною его гибели. Помните ли наш первый разговор? Вам он не нравился и был непонятен. Поняли ли вы его теперь?

— Понял. Но если вы меня называете несчастным потомком, то сами вы не змей ли искуситель или, по крайней мере, не орудие ли вы его?

— Я с вами не играл его роли, а вы имели с ним дело: припомните хорошенько, как гибельная мысль о выигрыше мало-помалу вкралась в вашу душу, как хитро овладела вашею волею, как искусно обольстила ваш разум, как затейливо обвилась около всего вашего нравственного бытия — вот вам и змей!

— Довольно. Теперь последний вопрос, и без шуток: должен ли я умереть от холеры?

— Я вас не понимаю.

— Не скрывайтесь. В сотый раз говорю вам: мне известно, что ваши последние посещения предвещают смерть. Скажите, по крайней мере, в последний ли раз я вас вижу?

— Не знаю, может быть...

— Может быть? следовательно — смерть!

— Непоправимый! С тех пор, как ты себя помнишь, тебе известно, что смерть твоя неизбежна. Когда она придет — какая надобность это знать? Полустолетием ранее, полустолетием позже — разница не так велика, как, может быть, думают. Все дело в том, что жизнь наша есть приготовление к смерти, что спокойная смерть должна быть целью всех

наших деяний: кто об этом заботится, тот живет счастливо. Вот все, что могу тебе сказать насчет и твоей смерти, и чьей бы ни было. Что еще нужно ?

— Ничего! Прощай, дьявол-мучитель!

— Ознакомился с ним, и видит его во всем и во всех...

Прощай, мудрец!

Как спокойно и равнодушно читаем мы теперь в газетах краткие известия о том, что холера показалась в одном, в другом, в третьем конце или уголке Европы! Но как страшно было первое ее появление в нашей части света, огражденной своим просвещением, грозно вооруженной своими знаниями для отражения всякой внешней опасности! Как бесстрашно этот новый Чингис-хан перенесся чрез все твердыни нашей мудрости... Но что об этом напоминать? Первый страх уже миновался, и о грозной азиатской гостье толкуют более потому, что она сделалась достоянием наук.

Так теперь, но тогда... О, тогда, спора нет — холера была похожа на первый звук трубы, зовущей на суд!... Все смутились поневоле, и многие начали думать... о чем? не о смерти ли, по совету Шица? Как бы не так!... Начали думать о том, как бы развлечься от этого несносного помышления об опасности, как бы ничего не слышать о ней и не видеть ее. Так рассказывают о страусе, что эта птица, в минуту опасности, засовывает голову в какое-нибудь ущелье, и как сама ничего не видит, то уверена, что и ее никто не видит.

Но Гацфельд не искал развлечений. Холера, смерть — он был равнодушен ко всему. Может быть, по примеру старухи Дюдефан*, и он сознавался, что ему так же нужно умереть, как утомленному человеку уснуть. Жизнь точно была

* Имеется в виду Мари де Виши-Шамрон, маркиза Дюдеффан (1696/7-1780), хозяйка парижского философского салона, корреспондентка Вольтера и других писателей.

ему в тягость. В этом он винил не себя, а, как водится, судьбу. Перебирая все обстоятельства последних годов своего бытия, он не мог не дивиться такому сцеплению случаев, по-видимому маловажных, и между тем увлекавших его в пропасть несчастья. Началом всех своих бедствий полагал он знакомство с Анелею. Потом встреча с *усачом*, единственная, первая и последняя, и в сущности самая незначительная, состоявшая из краткого разговора. Но какие мысли породил этот разговор! что он открыл!... Скажут, можно было это оставить без внимания. Но вслед за тем было объяснение с Лихаевым, объяснение, которого Гацфельд не искал, и которое также кажется не важным. Потом встреча с Шицем, его неожиданное объявление о дружбе с покойным отцом; секрет, так легко им открытый... Потом поездка в Москву, блестящий круг, в который он попал; праздник князя Рамирского, возбудивший в нем зависть, самую естественную, самую непредосудительную... Рассказы графа Лейтмерица, разрушившие все сомнения насчет непостижимости Шица и его откровений; вторичная встреча с тем же Шицем, который прежде говорил, что они более не увидятся. Не судьба ли все это? А знакомство с Аглаевым? а содействие этого ничтожного, пустого человека в его несчастной женитьбе? Не явная ли насмешка, злая шутка какого-нибудь демона, который старался запутать его жизнь в самых неприметных сетях?

Холера медленно совершала свое убийственное дело над Гацфельдом, так что ему было время увидеть, как напуганная жена и почти вся прислуга бежали из дома и оставили его в жесточайших страданиях одного, с старым солдатом, бывшим некогда его денщиком... О, как ни будь равнодушен ко всему земному, а такой поступок нестерпимее самых ужасных припадков!... Если бы Гацфельд был величайший злодей, он в эту минуту был бы вправе почитать себя ангелом в сравнении с низкими душами, так предательски его покинувшими.

Но не все люди таковы. Кто-то спрашивает о нем в другой комнате. Какой герой добродетели презирает опасностью и извещает зараженного? Отворяется дверь: входит дама... Это Анеля!... На исходе жизни, бедный страдалец почувствовал блаженство... Это любовь, прежняя, пламенная любовь! Какая другая причина могла ее привести сюда?.. С видом участия, с ангельскою улыбкою подошла она к его кровати...

— Простите им! — говорит она. — Не вас они оставили, а бежали от мнимой опасности. Они боятся за свою жизнь! Можно ли их за то осуждать? Я не боюсь ничего. Я останусь при вас... до выздоровления вашего!

— Вы останетесь при мне? Ты при мне, ты, моя Анеля? Ты пришла усладить мои последние минуты... Но что я говорю? Ты принесла мне жизнь, ты хочешь, чтобы я жил...

— Непременно хочу. Я пришла вам служить...

— Мне служить? скажи лучше...

— Тс! успокойтесь! лежите смирно!...

— О, как это жестоко! требовать спокойствия, когда...

— Это нужно для вашего здоровья.

— Здоровье, жизнь — ты мне все принесла, и еще более: блаженство, неожиданное, неизъяснимое блаженство, с которым тысяча холер покажутся райским наслаждением... Анеля! Анеля! ты все забыла, ты презрела опасность... для меня, для твоего Густава, для возлюбленного...

— Тише, ради Бога тише, замолчите! Вам нужно успокоение... Или я уйду... замолчите!..

— Замолчу; буду спокоен; усну, если ты велишь: скажи только одно слово, доверши начатое... Любовь?

— Да, любовь.

И это было выговорено с таким важным видом.

— О, не так; откинь эту строгость, оживи меня утешительным словом! Оно будет лучше всякого лекарства. Я встану, я вскочу с постели, мгновенно сделаюсь бодр и здоров — выговори только: «Густав, я люблю тебя!..».

С умиленным состраданием посмотрела на него Ангелика, вздохнувши, распахнула шаль, приподняла висевший на груди ее золотой крест и сказала кротким голосом:

— Вот любовь, Густав Федорович, — любовь самая блаженная, самая прочная; любовь неумирающая! Она меня научила не бояться опасности; она привела Меня к вам... к страдальцу, оставленному слабыми душами... Во имя этой любви, заклинаю вас, примиритесь с собою, с Богом, с жизнью!.. Простите обидевшим вас... Боже! вам дурно!..

Она взяла его за руку. Умирающим голосом и с умоляющим видом он простонал:

— Любовь!...

— Любовь, любовь к вам, ко всем страждущим...

— О!..

Это был последний стон Гацфельда. Ангелика закрыла ему глаза, помолилась, позвала верного денщика, и... поехала к другим больным. Добродетельная девица исправляла в это время должность сестры милосердия.

Библиография

Все включенные в книгу произведения публикуются по первоизданиям в новой орфографии. Пунктуация приближена к современным нормам.

Ф-ъ Петр. Колечко: (Рассказ) // Сын отечества. 1849. Кн. 11, ноябрь.

Корф Ф., барон. Отрывок из жизнеописания Хомкина // Современник. 1838. Т. 10.

Ушаков В. Густав Гацфельд: Повесть // Отечественные записки. 1839. Т. VII.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.